

Петр Алешкин

Откровение Егора Анохина

Роман



Петр Алешкин

Откровение Егора Анохина. Роман

«Издательские решения»

Алешкин П.

Откровение Егора Анохина. Роман / П. Алешкин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833401-6

В центре романа «Откровение Егора Анохина» история любви двух сильных мужчин к одной женщине, которую они пронесли почти через весь двадцатый век. Критик Алексей Шорохов писал о романе, что «Пётр Алешкин отворяет жилы времени, и оттуда тугими, ровными толчками бьёт густая русская кровь... Можно говорить о потрясающем символизме образа Настеньки — Россия тоже женского рода, и весь двадцатый век русские мужчины дерутся за право называть её своей, а она ждёт с войны, из лагеря своих мужчин...»

ISBN 978-5-44-833401-6

© Алешкин П.
© Издательские решения

Содержание

Русская трагедия	6
Часть первая	9
1. Книга за семью печатями	9
2. Первая печать	12
3. Вторая печать	17
4. Третья печать	23
5. Четвертая печать	27
6. Пятая печать	32
7. Спасенные от Великой скорби	40
8. Шестая печать	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Откровение Егора Анохина

Роман

Петр Алешкин

© Петр Алешкин, 2016

ISBN 978-5-4483-3401-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Русская трагедия

*Откуда она течёт в нас, Господи, и для чего?..
«Тайна крови»*

*...Россия – Сфинкс.
Ликуя и скорбя,
И обливаясь чёрной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжёт, и губит!..*

А. Блок. «Скифы»

Пётр Алёшкин отворяет жилы времени, и оттуда тугими, ровными толчками бьёт густая русская кровь. «Черная» – по удивительному определению Блока. Нет, это не триллер жующих попкорны американцев, не фильм ужасов горячащих свою мёрзнущую кровь англичан – это русский двадцатый век, его трагедия. Пётр Алёшкин так и назвал свой роман: «Русская трагедия». И не вследствие дурного вкуса...

«Чёрный от сырости клён безжизненно и тоскливо раскинул под окном голые ветки. Снег грязный, клочковатый. На тротуаре и дороге наледи. Выбоины заполнены талой водой, машины идут медленно, раскачиваются, подпрыгивают, расплёскивают лужи. Небо сплошь затянуто серой мглой. Сыро, пасмурно...». На столе перед следователем райотдела лежит новое дело: «восьмидесятивосьмилетний старик зарезал столовым ножом своего односельчанина... ещё более древнего старика». «Что делать? Что делать?» – спрашивает себя следователь.

Тоска, страшная тоска и в природе, и в душе его. Уж сколько таких дел прошло через его руки, пора бы привыкнуть! Но то были «юнцы или пропойцы, а тут старики, старики!» И если уж старики, то... – что же происходит? куда идём?

Этими вопросами начинается роман. Ими же он заканчивается, оставляя по прочтении острое, терзающее беспокойство. Писатель не отвечает ни на один из этих вопросов. И в этом его великая удача, потому что протянувшееся через весь двадцатый век, ставшее плотью и судьбой героев романа и всего русского народа это страшное вопрошание богаче и значительнее икающего от собственной сытости благоразумия наших «цивилизованных» соседей.

В основе романа банальный «любовный треугольник»: одна женщина в двух мужских судьбах. Только вот – одна навсегда. И по мере понимания этого становится по-настоящему страшно: одна – сквозь все бури века, в прицеле винтовки в Гражданскую, на мушке маузера в 1937 под бомбами и в плену в годы Великой Отечественной, из-за колючей проволоки в 1947 и дальше, дальше, до последнего судного дня, когда одна из этих мужских, стариковских уже судеб оборвёт другую и оборвётся сама. А женщина... останется.

Можно бы поговорить о потрясающем символизме этого образа – ведь Россия тоже женского рода, и весь двадцатый век русские мужчины дерутся за право назвать её своею, а она, подобно алёшкинской Настеньке, ждёт с войны, из лагеря, с того света своих мужчин. И отвечает, дождавшись...

Но дело не в символизме, не это гнетёт и мучит после того, когда роман Алёшкина прочитан. Какая-то страшная и неумолимая диалектика русской жизни, какая-то ужасающая душу и сердце механика предстаёт перед нами, и мы видим, отчётливо созерцаем, как жилы вре-

мени наполняются кровью и как именно она, упорная русская кровь, тяжёлыми, неудержимыми толчками двигает косное тело человеческой истории через весь XX век. Давая миру ещё немного времени и оплачивая самой дорогой на свете ценой эту отсрочку.

В романе всё неумолимо, это действительно трагедия. Она не разыгрывается, она вершится. И очень важно, что писатель берёт героев этой трагедии из сердцевины русской жизни – из безвестной тамбовской деревушки. Он не соблазняется лёгкостью поверхностных объяснений, не делает героями русской трагедии инородцев и составителей «протоколов сионских мудрецов» (они и невозможны в качестве героев), хотя в полном соответствии с исторической правдой этим персонажам (но отнюдь не героям) есть место в алёшкинском повествовании: и революционным карательным отрядам из латышей и мадяров, и картавым комиссарам, и энкаведэшникам. Но не они суть русской трагедии, не их разбавленной кровью оплачен минувший век.

Два соседа-односельчанина Егор Анохин и Мишка Чиркунов (Чиркун) – любят красавицу-поповну Настеньку, любят настолько, что ради неё без разбору губят свои и чужие жизни. Не по злобе, а в меру своего времени и судьбы. Ибо судьба даётся.

Но они не бездумные и бездушные роботы – нет: они убивают, спасают, ненавидят, прощают, жалеют, выбирают свой путь. Только выбор у них оказывается небогат: или пан или пропал. И не будь в судьбе обоих Настеньки, они бы, пожалуй, и смирились, как миллионы таких же русских мужичков. Но им нельзя, потому что где-то поблизости, в одном с тобою времени живёт соперник и только и ждёт твоего «пропал». Поэтому остаётся одно – «пан».

И они пануют: эскадроны Тухачевского и повстанческие дружины Антонова, управления НКВД и ГПУ, вёрсты Второй мировой... И попеременное обладание Настенькой, которая хотя и любит-то одного, а жалеет обоих. И не утрясается это, не устаканивается.

Уже и внуки-то бывлых комиссаров выступают по радио «Свобода» и продают идеалы своих дедов и прадедов, уже катится по Советской России перестройка, а в жилах этих русских стариков двигается, приливает к сердцу по-прежнему густая, не уgomонившаяся и за столетия кровь.

Один из них, Мишка Чиркун (в маститой старости Михаил Трофимович Чиркунов), – в зрелые годы палач, насильник и богоборец, где-то переходит меру своих мерзостей: вернувшийся с войны чекист отпускает арестованного митрополита Тамбовского, чему предшествуют многочасовые допросы, больше похожие на исповеди. И приходит к Богу. И уже с ним отправляется в сталинские лагеря...

Это чудовищно, это не принимают сердце и ум, но это правда. Человек, пытавшийся распять священника отца своей возлюбленной, наверняка вытворявший и не такое в подвалах ЧеКа (да и при свете божьем), взрывавший храмы... и к Богу. И «мученическая кончина» от руки своего соперника, тоже не ангела, но и не палача. А перед этим проповедь, исцеление болящих...

Да, вспоминает ум, конечно – и знаменитый атаман Кудеяр, и разбойник Опта, основавший Оптину пустынь, и разбойник на кресте одесную Господа, первым попавший в рай, и римский сотник Лонгин, сораспинавший Христа и ставший впоследствии одним из первых мучеников во имя Его. Но это всё далеко, почти легендарно, а тут – кровь мучеников ещё дымится на русской земле, ещё сами себя делим на белых и красных, ещё не просохли чернила на мортароге загубленных русских жизней – ...и простить? забыть? примириться? Не можем, все мы ещё не можем, что уж спрашивать с Егора Анохина, который помнит совсем другого Мишку.

И опять-таки, не будь Настеньки, может, и плюнул бы – ну полез Чиркун во святые, и ладно. Но нет – здесь ведь поражение, духовное поражение, и на глазах любимой, поповны, напомним. И соперники меняются ролями – «хороший» прежде Егор ополчается на «плохого» прежде Михаила, ополчается против него и против его Бога. Не понимая того, что тем самым ополчается он и против её Бога!

И как это всё по-русски! Как мучают нас споры этих стариков своей злободневностью – не мы ли видим бывшего парторга зачистившим в церковь, не нас ли обдают брызгами лимузины бандитов, подкативших к храму, не мы ли читаем поганенькие статейки о блудных попах и монахах? И мучаемся этим, и нет у нас ответа.

...Письмо Алёшкина стенографично, он не вязнет в плоти повествования, ему нужно успеть поведать о семи десятилетиях судьбы своих героев и своей Родины. Апокалиптизм русской революции, описанный в романе слишком очевиден.

По прочтении романа душа мятётся. И благодаришь автора за этот её непокой, за то, что он вновь ставит её перед извечными, какими-то неизменно «сегодняшними» русскими вопросами... Как пример одного из них: доводилось ли вам читать последние полосы областных газет? Те, где печатаются «криминальные хроники»? Если нет, то вот сообщение с одной из таких полос: *«В субботу 7 января 1989 года, на Рождество Христово, Егор Игнатьич Анохин, восьмидесятивосьмилетний старик, зарезал столовым ножом своего односельчанина Михаила Трофимовича Чиркунова, ещё более древнего старика... Выпили, закусили, заспорили об Иисусе Христе, как записал участковый милиционер со слов жены убитого...»*. И только прочитав роман Алёшкина, понимаешь, что за всем этим стоит.

За всем этим и надо всем – «любовь, которая и жжёт, и губит». Любовь к женщине, к Родине, к Богу. Русская любовь и русская кровь – не стынувшая даже в дряхлых стариковских жилах, ежесекундно творящая трагедию своей частной и нашей всеобщей судьбы. Та самая, «чёрная», необъяснимая, пугающая сытых заокеанских клерков и домохозяек не выстрелами на улицах и не дерзкими ограблениями, а именно первородной своей, неукротимой и зачастую гибельной силой.

Как, *разве можно умереть за любовь?* Оказывается, можно.

Алексей Шорохов

Часть первая

*Пойди, возьми раскрытую книжку
из руки Ангела, стоящего на море и на земле*
Откровение. Гл. 10, ст. 8

1. Книга за семью печатями

*Кто достоин раскрыть сию книгу
и снять печати ее.*
Откровение. Гл. 5, ст. 2

В субботу 7 января 1989 года, на Рождество Христово, Егор Игнатьевич Анохин, восьмидесятивосьмилетний старик, зарезал столовым ножом своего односельчанина Михаила Трофимовича Чиркунова, еще более древнего старика.

Следователь Николай Недосекин пролистал тонкую папку с показаниями, записанными участковым милиционером на месте трагедии, поднялся, шагнул к окну своего маленького тесного кабинета, ссутулился, засунув руки в карманы брюк. Черный от сырости клен безжизненно и тоскливо раскинул под окном голые ветки. Снег грязный, клочковатый. На тротуаре и дороге наледи. Выбоины заполнены талой водой, машины идут медленно, раскачиваются, подпрыгивают, расплескивают лужи. Небо сплошь затянуто серой мглой. Сыро, пасмурно. Недосекин хмурится. Что делать? Что делать? – спрашивает он себя. Тоска, страшная тоска, словно виноват он в чем-то непоправимо, но о вине его никто не догадывается: и это-то особенно мучает. Отчего так? От тягостной, совершенно не зимней погоды, которая, как верно заметил кто-то, издревле влияет на русского человека, или от прочитанного? Дело несложное, много времени не отнимет. Напились старики на праздник, замутили мозги, заспорили об Иисусе Христе, как записал участковый милиционер со слов жены убитого, поругались, и один старик ткнул столовым ножом другого в шею. Ранка пустячная. Но в деревне ни медпункта, ни медсестры. Перевязали кое-как платком, и пока везли двенадцать километров в ближайшую больницу, Михаил Трофимович Чиркунов захлебнулся кровью. Все примитивно: пьянка, пили самогон, конечно, ссора, драка. Сколько таких дел прошло сквозь руки Недосекина? Привык, кажется. Но проходили перед ним юнцы или пропойцы, а тут старики, старики! И если уж старики... Может, от этого так тоскливо? И опять всплыли тревожные вопросы. Что же происходит? Куда идем?

Резкий неприятный щелчок отвлек Недосекина от размышлений. Он оглянулся, поморщился, думая, когда же комендант, наконец, дверь отремонтирует, увидел милиционера Сашу Степунина, приземистого, смуглого до черноты молодого парня, и, не дожидаясь, когда он доложит, что привел Егора Игнатьевича Анохина, быстро сказал:

– Давай! – и вернулся за свой стол.

Степунин молча ступил в сторону. Из полумрака коридора медленно выдвинулась морщинистая рука, ухватила серыми пальцами за косяк, напряглась так, что жилы вздулись, и показался высокий старик в заношенном свитере на иссохшемся длинном теле, с ввалившимся животом, с редкими изжелта-седыми волосами на большой голове. Приближался медленно, почти не отрывая ног от пола. Недосекин дернулся непроизвольно, хотел вскочить, помочь старику, но сдержался, вспомнив, что перед ним убийца. Егор Игнатьевич дошел до стула, оперся подрагивающей рукой о спинку и проговорил тяжело, невнятно, но как-то доверительно:

– Ноги задубели... Виляют. Обезножил совсем... Шаг шагнул и притомился. Да и сам весь выветрился...

Глядел он на Недосекина своими когда-то черными, а теперь какими-то туманными бельмастыми глазами дружелюбно.

– Вы садитесь, садитесь, – кивнул на стул Недосекин и повернулся к милиционеру. – Саша, погоди!.. Будь другом, скажи коменданту, чтоб плотника прислал дверь отремонтировать. Надоело...

Внизу у полотна отслоился уголок фанеры. И каждый раз, когда открывали дверь, цеплялся за косяк, неприятно, скрипуче шелкал.

Старик с трудом опустился на стул, уронил длинные руки на колени, еще больше сторбился, выставил всю в трещинах, словно клетчатую, шею. Недосекин отвел глаза от его тоскующего взгляда, от желтого сухого лица с едва наметившейся белой щетиной. Не таким представлял Недосекин старика-убийцу, хотя разные преступники сидели перед ним, бывали и с совершенно ангельским видом.

Отвечал Егор Игнатьевич охотно, но невнятно, с трудом, как после легкого паралича, и качал головой, словно подтверждая сказанное. Недосекин записывал. Так же охотно и быстро ответил старик и на вопрос, как он относился к Михаилу Трофимовичу Чиркунову:

– Ненавидел я его...

Это была первая неожиданность. Ручка, готовая быстро черкнуть: добрососедские, или нормальные, или даже хорошие, замерла над листом. Следователь смотрел на Анохина, решая, как лучше записать, думал, что старик сказал так, не остыв от обиды, и спросил:

– Почему же тогда вы оказались у него за столом, если ненавидели?

– День... – запнулся Егор Игнатьевич, слова давались ему теперь с большим трудом: то ли устал, то ли волноваться начал. – День рождения...

– Рождество, – подсказал Недосекин.

– Не-е, – замотал головой старик и заговорил быстро, глотая и недоговаривая слова. – Ага, да, Рождество... и день рождения Насти... Восемьдесят семь годков...

Жену убитого звали Анастасией Александровной.

– Значит, вы пришли поздравить Анастасию Александровну с днем рождения?

– Зашел, – подтвердил старик.

– Они вас усадили за стол, выпили за здоровье именинницы, стали разговаривать, заспорили. Во время ссоры вы сами не заметили, как в руках у вас оказался столовый нож. Вы ткнули им в сторону Михаила Трофимовича, попали ему в шею. Так?

– Ага.

– Значит, убивать вы не хотели?

– Не-е... Хотел.

– Не понял? Что вы хотели?

– Давно убить надо... Духу не хватало...

– Значит, вы убили умышленно? – растерялся следователь.

– Ага.

Они смотрели друг на друга: Недосекин недоуменно – старик не казался выжившим из ума, а Егор Игнатьевич по-прежнему доверчиво и дружелюбно.

– Я могу так и записать.

– Пиши...

– Вы не понимаете, Егор Игнатьевич! Одно дело – умышленное убийство, другое – случайное... Какие у вас могли быть причины для убийства?

– Он застрелил моего отца... – быстро выговорил Анохин.

– Отца?! – невольно воскликнул Недосекин, глядя на резко выступившие бугры скул на лице старика, на его ввалившиеся щеки, виски, черный рот, на большие прозрачные уши. – Когда?

– В двадцатом... И брата в двадцать первом... Он мою невесту... – Старик запнулся так, словно силы кончились говорить, замолчал, выдохнув напоследок: – Духу не хватало...

Молчал и Недосекин. Он считал, что закончит дело двумя-тремя допросами: пьяная ссора, случайное убийство. Но дело иной оборот принимало. Это с одной стороны. А с другой: двадцатый год, двадцать первый были для него, родившегося в шестидесятом, такой далекой историей, что казалось невероятным видеть и слышать свидетеля тех событий, человека, у которого столько лет была в душе рана, жила ненависть. Старик дышал часто, хрипло, смотрел в пол, склонив голову с жидкими седыми волосами.

– Вы можете сами написать все о взаимоотношениях с Михаилом Трофимовичем Чиркуновым и о том, что произошло седьмого января? – спросил Недосекин.

– Отдохнуть бы... Бунить все, – потер старик голову. – Моготы нет. Завтра отпишу...

2. Первая печать

И вышел он как победоносный, и чтобы победить.
Откровение. Гл. 6, ст. 2

Старик лежал на нарах в тишине, в полутьме, смотрел на пыльную лампочку, тускло светившую с потолка сквозь тонкую решетку, и думал, что завтра надо писать следователю о Мишке Чиркуне. Что он о нем напишет? Что расскажет? Как написать, как высказать все, что было?.. И вдруг ни с того ни с сего представился ему летний день в желтеющем поле, обнесенное оградой кладбище с высокими тополями на Киселевском бугре, его, Егора Игнатьевича, могила неподалеку от могилы Мишки Чиркуна. Где сначала остановится Настя? Над кем всплакнет, запечалится? Кого позовет: расступися, мать сыра земля?..

Дворы Чиркуновых и Анохиных были в разных концах деревни. Изба Анохиных, по уличному Игнашиных, в Углу, а Чиркуновых – Чиркунов – в Крестовне. В Масловке каждый порядок, часть деревни, по-своему называется: Вязовка, Угол, Хутор, Крестовня и собственно Масловка. Деревня сидит в хорошем месте, в низине, там, где сливаются две речки: Криуша и Малая Алабушка. Слившись, они образуют Большую Алабушку. Избы выстроились вдоль рек, стоят не на самом берегу, а в отдалении. От изб к рекам тянутся огороды, упираются в высокие ветлы, которые растут у самой воды. Та часть Масловки, где сливаются реки, а избы сходятся под углом, называется Угол. Отсюда дорога ведет в Мучкап, в Уварово, и далее, в Тамбов. А Крестовня – в противоположном конце, в сторону Борисоглебска. Поэтому в детстве у Егора и Мишки не было общих друзей, и теперь Егор Игнатьевич не помнит, когда он впервые встретился с Мишкой или услышал о нем. Совершенно не помнит, хотя те далекие годы вспоминаются ему с недавних пор яснее, четче, чем, скажем, то, что было лет двадцать назад.

Не может быть, чтоб не были они знакомы до того мартовского вечера семнадцатого года, до первого столкновения из-за Насти! Мишка старше на два года, но все же не могли они не бывать вместе на гулянках или на праздничных игрищах, когда вся деревня высыпала на луг? Нет, не вспоминается ничего! Даже то, что было вначале: «позорный лист» или мартовский вечер, трудно определить теперь. Впрочем, нет, должно быть, раньше был вечер. Масленица, помнится, была, а потом уж «позорный лист». Ведь отец Егора, сельский комиссар, получив лист, сразу отправил Мишку назад, на фронт. Помнится, отец посуровел сильно, когда прочитал полученную бумагу, ругнулся: «Допрыгался, чертов шабол! Убег, так сидел бы потаясь... Нет, выпучит бельмы, култыхается по деревне. Гордится: дезентир! Догордился...» Бумага была обведена жирной черной рамкой, и буквы черные, особенно выделяется название: «Позорный лист». В бумаге сказано: «Исполнительный комитет Совета Солдатских Депутатов XII армии уведомляет, что Чиркунов Михаил Трофимович, солдат 17 легкого мортирного артиллерийского паркового дивизиона, дезертир с 1 марта 1917 года. Всякий, кому известно его местопребывание, обязан сообщить ближайшему комитету для высылки принудительно к этапному коменданту и далее в часть. Солдат Чиркунов Михаил Трофимович преступник против Родины, народа и Свободы, потому что не хочет их защищать».

Да, бумага пришла потом, а вначале был тот вечер, игра в «соседки». Парами сидели на скамейках, на сундуке, на приступке у печки, грызли семечки. В просторной и низкой избе Иёнихи, беленной мелом, жарко натоплено. На сундуке у окна с задернутой занавеской бугром навалены полушубки, шапки. Сама Иёниха, старуха с маленьким морщинистым лицом, лежит на печке, смотрит оттуда, быстро и безостановочно, как обезьяна, грызет семечки, плюет вниз, на пол, изредка смеется, следя за игрой, и дает советы. Она любит, когда у нее собираются играть. Парень с девушкой ходят по избе от одной пары к другой по хрустящей подсолнечной шелухе, и девушка спрашивает у кого-нибудь из парней: «Доволен ли он своей соседкой?»

Если ей отвечают «да», то они идут дальше, спрашивают у других. Наконец остановились возле Егора.

– Доволен ты своей соседкой?

– Нет, – буркнул он, бледнея.

Слово дал себе подпариться к поповой дочке, Настеньке, шепнуть ей на ухо, что проводит ее сегодня до крыльца. Помнится, ради Настеньки выпросил у матери алую сатиновую рубашу брата Николая, который был на германской войне.

Когда, как попова дочка запала ему в душу? Теперь не вспомнить. Может быть, он стал пристально следить за ней после слов своего отца, который однажды зимним вечером сказал матери с озабоченностью и одобрением:

– Настенька, дочь отца Александра, заневестилась, расцвела за последний год... Придет Миколой с хронты, надо будет сватов заслать. Намекну как-нибудь при случае батюшке, небось не откажет... В деревне мы вроде ровня: он – поп, я – комиссар...

– погоди, вернется Колюшка, тада, а то, не дай Бог, бяду накличешь, на войне все-таки, – спокойно и рассудительно ответила мать. По тону ее голоса чувствовалось, что она одобряет выбор отца и не видит никаких препятствий к свадьбе, кроме отсутствия сына.

– Ты эти думы брось! Накаркаешь, – посуровел отец.

Нет, не после этого разговора, который мать с отцом вели при нем, обратил он внимание на Настеньку. Помнится, услышав слова отца, он похолодел, замер ошеломленный, сужокожился, словно отец замахнулся на него, чтобы ударить. Раньше, намного раньше стал он думать, мечтать о ней, видеть только ее среди масловских девчат. Только от ее смеха вздрагивало его сердце. Егору Игнатьевичу вдруг явственно представился, возник перед глазами весенний деревенский луг неподалеку от церкви, ребята, играющие в салки, и юная Настенька среди них: маленькая, худая, юркая, вся какая-то угловатая, быстрая. Она мчится по молодой зеленой траве так, что две ее косички развеваются позади, хлопают по спине и снова взлетают вверх, остренькие локти быстро мелькают по сторонам, блестящие глаза распахнуты от восторга и испуга, рот раскрыт, она пытается убежать, увернуться от мяча, с силой брошенного ей вслед. Егор Игнатьевич явственно услышал ее звонкий восторженный визг, когда мяч пролетел мимо. Вот почему он стал звать ее касаточкой. В обрывистых берегах Алабушки в норах жили ласточки-береговушки, которых в деревне звали касатками. Были они быстрые, угловатые, юркие, звонко и тонко щебетали, мелькая над водой. Вот такую птичку напоминала ему в юности Настенька.

После невольно подслушанного разговора отца с матерью Егор всю ночь не спал, тосковал, ронял тихонько слезы на подушку. Первую ночь бессонную провел из-за Настеньки. Сколько их будет потом?! Под утро решил поговорить с братом, как только он вернется с фронта, рассказать ему, что значит для него Настенька. Брат умный, поймет.

А в тот мартовский вечер у Иёнихи попова дочка оказалась в паре с Мишкой Чиркуном, который приперся из Крестовни. Помнится, вошел в избу – шапка на затылке, усы вздернуты, рот в ухмылке, глаза взгальные. Стукнул шапкой по коленке:

– Прймайте, девки, дезентира! Тыщу верст отмахал, чтоб на вас поглядеть!

– Раздевайся, не буробь! Небось германца увидал, обмер и к маманьке стреканул! – подковырнул кто-то из ребят.

– Гля-кось, – деланно и радостно закричал Мишка. – Во вражонок, и не боится... Щелчком пришибу! Германцем меня испугал! Как царя спихнули, мерекаю, за кого мне теперь кровялить? И деру!

Разделся, кинул шапку и полушубок в кучу на сундук, пригладил ладонью черные, сухие и короткие волосы на удивительно маленькой голове. Длинноногий, широкий в костлявой груди, поджарый, большеротый, с близко посаженными глазами, озорной, подвижный, как на шарнирах весь. Он-то и подсел, ухватил Настеньку, когда кто-то предложил сыграть

в «соседки». Обругал себя Егор распустехой, ромодой за то, что упустил поповну, и решил во что бы то ни стало отбить ее.

В тот вечер Настенька была особенно хороша! Ее оранжевое с алыми розами ситцевое платье ярко выделялось среди домотканых девичьих какой-то воздушностью. Конец толстой русой косы завязан большим бантом алой шелковой ленты. Особую нежность вызывал этот бант, лежавший у нее на груди. Почему-то радовало то, что он был одного цвета с его рубахой. Это как-то особенно интимно сближало их, намекало на что-то хорошее в будущем. Была она уже не похожа на юркую угловатую касаточку: плечи и бедра округлились, локти перестали казаться острыми. И вела она себя с недавних пор по-иному: уже не хохотала так задорно и звонко, что, глядя на нее, тоже невозможно было удержаться от смеха, хотя глаза вспыхивали, живо реагировали на каждую шутку. Лишь изредка она не выдерживала, заливалась по-прежнему заразительно, но быстро спохватывалась, умолкала, смущалась и как-то особенно мило и быстро окидывала взглядом подруг, словно спрашивала, извинялась – не шибко ли она разошлась? И от этого ее смеха, от этого быстрого взгляда сердце Егора вспыхивало, взлетало и сладостно замирало. Как она была хороша, как необыкновенно красива! Когда Егор ответил, что недоволен своей соседкой, и ходившая по кругу девушка спросила: кого он хочет в соседки, он взглянул на Настю, страхась вымолвить вслух ее имя. Сидела она с Мишкой на лавке у стола, над которым тускло горела керосиновая лампа. Девушка повернулась к Мишке Чиркуну:

– Отдаешь свою соседку?

– Ага, раскатал губы... – ухмыльнулся Мишка, блеснул крупными зубами, вглядываясь в Егора, и с готовностью подставил ладонь парню, ходившему по кругу с девушкой с ремнем в руке.

Парень ожег ладонь ремнем. Рука Мишки непроизвольно дернулась от боли, но он не убрал ее, держал, подставлял для следующего удара.

– Ловко! – засмеялись вокруг. – Ладно оттянул!

Парень снова хлестнул по ладони. Зарделась, кумашная стала ладонь.

– Отдаешь?

– Щелкай... Знай дело, – приказал Мишка, приговаривая в такт ударам: – Эх, раз! Еще раз! Еще разочек! Вот так! – подмигивал хохотавшим ребятам, Настеньке, которая, опустив глаза, чуть улыбалась уголками губ. – Не бойся, не уступлю я тебя! – крикнул он радостно и слишком бодро, сжав руку в кулак после пятого удара, и засмеялся, показал зубы, поглядел снисходительно на Анохина, захотевшего отнять у него соседку.

А парень с ремнем повернулся к Егору:

– Отказываешься?

– Нет, – мотнул он головой и тоже подставил руку.

Ладонь обожгло кипятком.

Егор напрягался, стискивал зубы, пытался улыбаться в ответ на шутки и смех ребят. Его соседка, обиженная тем, что он пренебрег ею, злорадно усмехалась, глядя, как он кривит губы, дергается от ударов. Выдержал, потер горевшую ладонь о колено.

Парень с ремнем снова перешел к Мишке.

– Отдаешь соседку?

– Ага, подставляй карман, – хохотнул он, раскрывая розовую ладонь.

Но уже не считал удары, не кричал весело, не подмигивал ребятам. Они считали хором. И на этот раз выдержал Мишка пять ударов, не уступил Настеньку. Не часто ребята выдерживали десять ударов.

Егор снова терпел молча, кряхтел тихонько, постанывал про себя, но не отдергивал, не опускал руку. Сердце колотилось, понимал, что это только начало. Не сдастся легко Чиркун. Вишь, загоношился, сбить с духу хочет. Дурак, не знает, что он терпеливый. Отец, бывалоча,

так отдерет, сесть нельзя. Скор на руку, а сучковатая хворостина не то, что гладкий ремень. Эх, завтра опухнет ладонь, коснуться нельзя будет...

Только успевали подставлять ладони Егор с Мишкой. Кажется, шум в избе, смех, колготня страшные стояли. Все веселились, подшучивали. Редко в игре такое видели.

– Егор, откачнись! – слышал он сквозь шум, но держал руку, видел, как ладонь становится сизой.

– Э-э, погоди-погоди! – вскочил, ухватил парня за руку, за ремень Мишка. – Ловок ты! Меня жаришь с оттягом, а его жалеешь. Не-е, дай-ка я сам! – вырвал он ремень.

Такое в игре допускалось. Дважды успел огреть парень Егора. Еще три разочка осталось вытерпеть.

Замахнулся с плеча Чиркун, невольно дернулась рука, чтоб увернуться от удара.

– Ах! – выдохнул Мишка.

Словно ось колесная упала на ладонь. Онемела, тяжелая стала рука. Еле удержал ее на весу Егор. Шум в избе стих. Ни смеха, ни шороха не слышно.

– Эх! – обрушился камень на руку, расплющил, раздавил. Глаза повлажнели, зажмурились в ожидании третьего удара. Звенело в ушах от неловкой тишины в избе.

– Ух! – топор вонзился в ладонь, пришил к пеньку, не отодрать.

Опустил руку Егор, смотрит на всех, улыбается опухшими губами. В глазах слезы. А ладонь не чувствует ничего. Пальцы окаменели, не шевелятся, не сгибаются. Ребята суют ему ремень, суют без смеха, серьезно как-то говорят:

– Давай, давай! Теперь ты ожги его!

– С плеча, с оттягом, как он тебя!

Сжал ремень Егор, поднялся с приступки, шагнул к Мишке, который почему-то сел на сундук, на свободное место, а не к Настеньке. Сидит, смеется, ладонь не подает. Что это? Что он слышит?

– Ладно, – хохочет в тишине Чиркун, открывая свой большой рот, и поглаживает ладонью жесткие короткие волосы. – Уступаю я тебе соседку! Иди, садись! – широким жестом указывает он на скамейку у стола, где ярким пятном блестит под керосиновой лампой алый бант.

Сунул кому-то Егор ремень и пошел к Настеньке. Как она смотрела на него, когда он шел к ней? Не помнит Егор. Не видел, не понимал ничего от боли, от радости. Сел рядом и застыл, угрюмый от счастья, как бирюк. Сидел деревянный, молчал. Ни словом не обмолвился с Настенькой за вечер, хотя и в «колечки» играл с ней в паре. Помнится, кто-то принес самогонки от Ольки Миколавны на Мишкины деньги. Он и посылал. Пили ребята в сенцах: перемигивались и выходили из избы по двое-трое. Егора одним из первых вызвали. Мишка протянул ему бутылку: пей, победитель. Победитель! – так и назвал его. Но Егор отказался.

– Ты чо, обиделся? – удивился Мишка.

– Да не, душа не примаает, – нашел причину Егор. Он боялся отца, который пригрозил ему, выпившему на Рождество: почую еще одна, запорю перед всем селом. И запорет. Настырный.

Расходились от Иёнихи шумно, со смехом разбредались в разные стороны. Ночь звездная, светлая. На востоке, за Киселевским бугром, белело, расширялось зарево широким полукругом. Вот-вот взойдет луна. Тускло блестела золотая луковица церкви, чернела окнами, оградой. Чернел ряд изб с катухами, ометами, с голыми верхушками деревьев. Снег осел, потемнел, хрупали замерзшие льдинки под ногами на накатанной полозьями саней дороге. Морозец. Воздух легкий, пряно пахнет корой деревьев, весенним снегом.

В Угол шли вдоль ровного ряда Хуторских изб. Собаки провожали добродушным лаем, словно рады были развлечься, а заодно показать хозяевам, что не дремлют, исправно несут службу, сторожат. Мишка Чиркун зачем-то шел в Угол. Когда голос его дурашливый и пьяный

доносился от передней группы парней, шедших вслед за девками, сердце у Егора вздрагивало тоской и тревогой. Чего он претя с ними, не идет в свою Крестовню? Что он замыслил?

Изба попа была крайней в Хуторском ряду, стояла в том месте, где дорога сворачивала к лощинке, за которой начинался Угол. Показалась в звездном небе длинная шея журавля у колодца напротив избы попа. И чем ближе подходили к ней, тем тревожней становилось Егору. Он в разговоре не принимал участия, расстегнул верхнюю пуговицу полушубка, чтоб легче дышать было. Мял в горячей ладони рыхлый снежок, жадно вглядывался в темные фигуры девок. Страстно хотелось догнать их и, когда Настенька повернет к своей избе, пойти вслед за ней, проводить до крыльца. Но ноги не слушались, не желали ускорять шаг, немели, дрожали. Клял себя Егор за трусость, но мысли ловко подсовывали оправданье, мол, погоди, не торопись, сегодня ребят слишком много, пьяный Мишка Чиркун засмеет, свистнет вслед, и Настенька убежит, не останется с ним. Завтра, завтра будет самое время!

Возле колодца с журавлем Настенька отделилась от группы и пошла мимо темневших деревьев к дому. И тотчас же к ней прямо по целику побежал парень, широко ставя длинные ноги, проваливаясь в снег. Гадать нечего – кто? Мишка. Заныло, заколотилось сердце.казалось, никто внимания не обратил на них, не засмеялся, не крикнул шутливо и ехидно им вслед. Обычное дело – парень девку побежал проводить.

Егор видел сквозь голые деревья в палисаднике, как у крыльца, на фоне серой стены темнели две фигуры, слышал голоса негромкие. Прошли парни и девки мимо попова колодца, прохрустели снегом, свернули к лощинке. Егор замедлял шаги, вслушивался. И вдруг показалось ему, что донесся женский вскрик. То ли почудилось от сильного возбуждения, то ли действительно крикнула Настенька. Он приостановился, сдвинул шапку на затылок, чтобы лучше слышать.

– Ты чо? – оглянулись ребята.

А Егор повернул, заторопился назад. Сердце стучало в голову. Ступать старался мягче, чтоб ледок не гремел под ногами, и явственно услышал:

– Отстань! Пусти, говорю! Закричу! Па... – Голос задохнулся. Какое-то придушенное мычание донеслось.

Егор кинулся к избе, проваливаясь в взрывающийся снег. Ни Мишки, ни Насти у крыльца не видно. Где они? Бросился по тропинке за избу, в сад, и увидел, как Мишка тащит к риге быющуюся в его руках Настю. Рот он ей, видимо, зажал рукой. Слышно только, как пыхтит, ругается вполголоса сам. Догнал его Егор, рванул за шиворот. Настя выпала из рук Чиркуна, который не удержался на ногах, свалился навзничь, сбил с ног Егора, ухватившись длинными цепкими руками за полу его полушубка. Егор перекатился, навалился на него, крикнул Насе: беги! Мишка барахтался под ним, крутился, расталкивал снег, пытался спихнуть с себя, яростно дышал в лицо перегаром. Настя вскочила, суетливо выбралась из снега на тропинку и побежала, оглядываясь, к избе. Силен Чиркун был, а Егор молод, жидок. Вывернулся Мишка, скрутил Егора, схватил своей пятерней за волосы и стал кунать лицом в снег, приговаривая:

– Охолони, охолони, остудись! – отпустил, спросил беззлобно: – Ну как? – и сел рядом с лежащим Егором, взял шапку и стал вытряхивать из нее снег. – Откуда ты взялся, долдон?.. Помешал... А может, и правильно. Поп завтра проклял бы, анафеме предал... Еще чего, жениться бы заставил, – засмеялся, закашлял Мишка. – Вставай! – нахлобучил он на голову Егора шапку и дернул за плечи. – Очухайся! Не буду бить, – спокойно сказал он. – Ух и лют я на баб, када выпью... прям козел иерихонский... Оклемался? Пошли отцеда...

3. Вторая печать

И сидящему на нем дано взять мир с земли.
Откровение. Гл. 6, ст. 4

Когда же в следующий раз встретились они с Мишкой? В феврале двадцатого? Да, три года спустя. Наверное, сразу после того случая появился «позорный лист», и отправился Мишка вновь на германский фронт. Надолго исчез из деревни. А глубокой осенью восемнадцатого года Егора Анохина мобилизовали в Красную Армию. Настенька провожала его, печалилась, плакала открыто, не стыдясь односельчан. Все знали, что она невеста Егора, что между попом и Игнатом Анохиным все обговорено, что Игнат Алексеевич не засылает сватов к попу лишь потому, что желает прежде женить старшего сына, одобряли его за это: испокон веков так ведется – жени старшего, потом уж думай о следующем.

Дружить Егор стал с Настенькой после той первой стычки с Мишкой памятной мартовской ночью. Как они были счастливы в ту весну семнадцатого года! Как он ждал вечера, чтоб помчаться на луг, увидеть Настеньку, увидеть весенний блеск ее счастливых глаз при лунном свете, услышать ее голос, смех, прикоснуться к ее руке во время игры в «горелки» или в «ручейки»! Как он носился по лугу, чтобы никому даже на миг не уступить в игре Настеньку, быть всегда с ней в паре! Как нежно, трепетно обнимал он ее возле крыльца поповой избы! Она доверчиво замирала в его бережных объятиях. Какое это было счастье молча стоять, прижиматься друг к другу в ночной тишине под легкий таинственный шепоток листьев клена. И казалось тогда, что всю жизнь они будут вместе, всю жизнь счастье не покинет их. Ничто не тревожило, ничто не мешало их счастью. Особенно после разговора с братом, который вернулся с германского фронта в начале апреля, когда бурные, мутные воды обеих речушек угомонились, вошли в свои берега.

Помнится, вечером, в тот день, когда появился брат, после ужина отец пересел с лавки на сундук, начал крутить сигарку из газетного листа и заговорил, радостно поглядывая на крепкого, сильно возмужавшего на фронте старшего сына, от которого не отходил Ванятка, младший двенадцатилетний братишка. Мать на столе в большой глиняной чашке мыла горячей водой деревянные ложки.

– Крепкий ты стал, Миколай, заматерел, – одобрительно сказал отец. – Женить бы тебя надо. Пора...

– А чо не жениться! – весело, не раздумывая, откликнулся, размякший от самогона, от долгожданной радостной встречи с родными, от того, что дома все ладно, что вернулся в Масловку здоров, невредим: ни одна германская пуля за два года на фронте не царапнула даже, хотя вжикали и цзинькали возле уха довольно часто. – Огляжусь, высмотрю невесту, и пойдем сватать!

– Мы с матерью приглядели тебе невесту... – чиркнул спичкой по коробку отец, прикурив, осветив ярко свое бородатое лицо, затаился, выпустил дым, выдохнув: – Хороша! – то ли о невесте, то ли о крепкой сигарке, закашлялся, указал дымящейся сигаркой на Егора, который замер, напрягся на приступке у теплой печки, понял, что речь сейчас пойдет о Настеньке, его бросило в жар, и он опустил голову, слушая слова отца, который говорил сквозь кашель: – Да вот... брательник твой упредил... влез...

– Кто же это? – засмеялся Николай, добродушно глядя на смущенного Егора.

– Попова... дочка... – никак не мог прокашляться отец. – Крепок как, зараза! – выговорил он о своем табаке.

– Брось ты цыбарить! – недовольно глянула на него мать. – Поговори с сынами по-человечески!

А Николай удивился, услышав слова отца, переспросил:

– Это Настя, что ли? Дак она совсем чиленок!

– Ну да, чиленок! Ты у него спроси, – снова указал сигаркой отец на Егора, после слов матери он сразу перестал кашлять, – он те скажет, что это за чиленок!

Николай снова радостно засмеялся и пересел к Егору на приступку, обнял брата одной рукой за плечи, спросил:

– Женихасься, значить?.. Не бойсь, я встречать не буду. Девочек в Масловке много, а в Киселевке еще больше.

– Своих хватить, неча на Киселевку глядеть, – проговорил неторопливо отец, освещая свое лицо сигаркой. – Ты вот что, выбирай с толком, с умом... прежде чем подойти к какой, на мать ее, на породу посмотри... Не на неделю берешь, всю жизнь жить... Можно жить, а можно маяться! Мотри ни себя, ни отца не опозорь. Выберешь невесту, спроси родителей: отец своему дитю дурного не посоветует...

В тот год жениться Николай не успел, снова на фронт ушел, в Красную Армию. Женился брат только два с половиной года спустя. Егор на свадьбе не был: Москву от Деникина защищал...

Да, встретились Егор с Мишкой в феврале двадцатого у церкви на сходе. Егор был в отпуске после ранения, а Мишка уволен подчистую. Поговаривали, что купил увольнительную у военкома в уезде. Может, врал, как проверить? Вернулся Мишка в деревню коммунистом и сразу стал во главе сельской партиячейки. Отец Егора, комиссаривший в Масловке при Временном правительстве, при комбедах ушел в тень. Ни с какой стороны к беднякам его пристегнуть было нельзя, самостоятельный мужик, грамотный, крепкий середняк, но и к кулакам не прислонишь: батраков не держал, оба взрослых сына красноармейцы. А когда комбеды разогнали, его избрали в сельский совет рядовым членом. Хотели председателем, но он отказался: покомиссарил, мол, хватит, пусть молодые стараются.

Вспоминается, как сидели за столом, завтракали. Семья почти в полном сборе. Николай лишь нет, Деникина добывает. Зато жена его молодая, Любаша, за столом. Был Николай в отпуске нынче осенью и женился. Живот у снохи уже круглиться стал, выпирать. Младший брат, пятнадцатилетний Ванятка, вытянулся за последние полтора года. Такой же, видать, как и Егор, высокий будет, крепкий. Опора отца с матерью. Пушок золотится на верхней губе, а разум детский: увидел именную шашку у Егора, полдня из рук не выпускал. Вынет из ножен, прочтет вслух: «Е. И. Анохину. За храбрость! Командарм Тухачевский», зачнет рубить воздух, вертеть над головой. Егор сердится на него притворно, а в душе рад, горд за себя, любит вспоминать, как с восторгом смотрел влюбленными глазами на командарма, когда тот протягивал ему шашку, держа ее перед собой на ладонях. В тот миг он готов был умереть за Тухачевского, поведи он только бровью. Командарм стал его кумиром задолго до того, как вручил ему шашку. Был он молод, мужественен, храбр, умен, решителен: с таким командиром хоть в огонь, хоть в воду.

Завтракали, как всегда, молча, неторопливо. Отец не любил суетни, разговоров за столом: будни. Это на праздник за столом и выпить и поговорить можно. Егор поглядывал на Любашу, жену брата, думал, что сегодня же надо попросить отца посвататься к Настеньке. Егор еще не видел свою невесту, добрался вчера до Масловки поздно вечером. Еле утерпел, чтобы не зайти к ней, когда шел мимо поповой избы. Света в окнах у них не было. Спят, должно. Неудобно будить. Завтра днем увидит, предупредит, что сваты придут. И в утренней постели, и сейчас за столом Егор думал, как ему дать знать Насе, что он вернулся. Забоялся, заробел явиться к попу в избу.

Вдруг на улице будто бы песня взвилась. Егор не донес ложку до чашки с кулешом, замер, прислушался. Точно. Молодой озорной голос чисто и звонко выводил в морозном воздухе:

*Тигры любят мармелад
Люди ближнего едят.*

А дальше с присвистом, с посвистом лихим, разухабистым: видно, не один был певун.

*Ах, какая благодать
Кости ближнего глотать!*

И подхватили дружно, ахнули, рванули на всю деревню задорные голоса:

*Э-э-эх, рыбина-соломина
Это все хреновина! Эх-ха-ха!
Елки-моталки
Получай по палке!*

Егор недоуменно взглянул на отца: что за архаровцы?

– Троцкий идет... – буркнул отец, тоже вслушиваясь, только настороженно. – Не дай Бог, остановятся... Хучь бы в другую деревню...

Он не договорил, перебила мать, закрестилась громко на иконы, под которыми сидел отец:

– Господи, царица небесная! Николай Угодник, прнеси и помилуй!

Егор заинтересовался, отодвинул занавеску, глянул в окно. По дороге на белом коне важно ехал человек в папахе, в черном кожаном пальто с меховым воротником, весь в ремни затянут. Застыл в седле, не покачивается, словно срослись в одно целое белый конь и черный всадник. За ним человек двадцать верховых. Трое саней. На последних, что с высоким задником, – пулемет.

– Почему Троцкий? – Егор опустил на свое место за стол.

– Продовольственный отряд имени Троцкого... Маркелинская песня, черт бы его побрал. Не надо и беса, коли Маркелин здесь. Прости меня Господи! – перекрестился отец размахисто и буркнул: – Ешьте!

Не прошло и полчаса, как забарабанили по стеклу, закричали с улицы:

– Игнат Лексеич, в сельсовет требуют!

Отец, хмурясь, стал собираться. Мать тревожно следила за ним.

– Не гляди, вернись.

– Откажись от Совета, некогда, скажи, хвораешь. Сил нету...

– Хватит. – Отец притопнул ногой, забивая глубже валенок в галошу. Нахлобучил шапку и направился к двери, но у порога обернулся, глянул на Егора: – Ежли на сход звать будут, неча ходить. Я – там! – И вышел, уверенный, что слова его будут выполнены.

Мать, горбясь в старой куфайке, вышла вслед за ним, принесла со двора, втокнула двух козлят. Они заблеяли тонко и жалобно, потянулись назад, к двери.

– Померзнут, разорались. Малы еще! – прикрикнула мать на них сердито и ударила тряпкой. – Кыш!

Козлята отбежали от порога, застучали по полу копытцами. Любаша стала подталкивать их за пень, в закуток.

– Напоить скотину? – спросил Егор. – Ай рано?

– Ступай.

– Егорша, можно я еще шашку посмотрю? – попросил Ванятка.

– Неча! – закричала на него мать, словно радуясь, что есть на кого крикнуть. – Игрушку нашел! Намашешься еще, никуда не дениси!

Егор просунул железный прут в ушки лоханки с пойлом и приказал Ванятке:
– Берись!

Овцы и козы окружили их на варке, толклись суетливо, когда они несли лоханку на середину варка. Сбились вокруг, присосались к теплой воде. Егор любовно гладил старую крупную овцу по спине, по густой влажной и жирной шерсти, запорошенной мякиной. Знакомые запахи двора щекотали нос, заставляли улыбаться.

Егор прошел в конюшню. Чернавка, рыжевато-черная кобыла, учуяв его, оторвалась от яслей, от овса, фыркнула. Рыжий жеребенок востроухнулся, оглянулся на Егора большими любопытными глазами, прижался хвостом к боку матери.

– Кось-кось-кось, – позвал ласково Анохин и протянул к нему ладонь.

Жеребенок ткнулся мокрым прохладным носом в пальцы. Егор потрепал его за уши, и жеребенок отскочил в угол. Анохин слегка похлопал, погладил по тугой спине кобылы, приговаривая:

– Чернавка, Черनावушка, ешь, сейчас мы тебя поить будем...

Потом пошел в хлев к корове Майке. Приласкал, погладил и ее, ощупал набухшее вымя, подумал – хорошо причала, на днях отелится, и спросил:

– Что же ты припозднилась, а? Надо было в январе телиться.

Майка перестала жевать, поглядела виновато грустными темными глазами.

– Ничего, ничего, это я так... Малых детей нет, дождемся, потерпим, – успокоил корову Егор, поднял вилы и крикнул брату: – Ванятка, попои Чернавку с Майкой, а я навоз выкину!

Анохин поддел вилами свежую пахучую лепеху вместе с соломенной подстилкой и кинул через плетень.

– Егорша, ты? – услышал он радостный крик.

На улице, напротив избы Анохиных, топтался сосед Андрей Шавлухин, молодой парень, чуть постарше Ванятки. По проулку шли несколько мужиков, по одному, по двое, и все в сторону церкви.

– Я, – отозвался Егор.

Андрей, хрустя снегом, подбежал к воротам.

– Здорово, когда приехал-то?

– Вчера вечером.

– Подчистую?

– В отпуск. Контузия.

– У него сашка от Тухачевского. Так и написано: за храбрость! – крикнул Ванятка радостно.

– Сиди, сашка, – передразнил, смеясь, Егор.

– Покажи, – загорелся Андрей.

– Иди в избу, – позвал Ванятка.

– А куда это народ попер? – спросил Егор.

– К церкви, на сход. Маркелин сзывает, – ответил Андрей и побежал к калитке.

Егор с Ваняткой напоили скотину, вычистили двор и тоже собираться стали.

– Отец чо сказал? – заворчала на них мать. – Сидеть дома... Ай неслухи? Слова отца для них как сорочий ор...

– Мам, чего ты сердишься? – обнял ее нежно за плечи Егор. – Можно мне на народ посмотреть, ай нет? А Ванятка? Так без него сход не сход. Слово его будет решающим.

– Ага, – буркнула мать, но ласка сына ей приятна была. – Ты не лезь там... Слухай, а не суйся. Мар-голин-то враз стрельнёт. Для него стрельнуть в человека, как плюнуть. Надясь приехал, выпорол Серегу Кирюшина да Митьку Булыгина. Не по ндраву ему высказались... Не суйся...

Егор надел шинель с широкими полосами на груди, буденовку. Он надеялся увидеть возле церкви Настеньку, хотя понимал, что надежда слабая. Что ей делать на сходе утром. Вечером и девки приходят, а сейчас... Зато на сходе его увидят люди и передадут Настеньке, что он в Масловке.

Шел по деревне с ребятами, здоровался с мужиками, отвечал на расспросы, поглядывал то на церковь, где в ограде и на улице клубился народ, то на попову избу: нет ли возле дома Настеньки. Не видать! Тихо у избы попа, вытянул шею с веревкой журавль у сизого заледенелого сруба колодца, торчат деревья из сугробов под окнами. Подумалось: может, Настенька смотрит в окно и видит, как он неспешно шагает по лугу, высокий, ладный, серьезный, в длинной шинели, островерхой буденовке. Чуть поодаль от входа в ограду церкви стояли те трое саней продотряда, которые видел Егор в окно. На мордах лошадей мешки с овсом. Толпятся рядом красноармейцы. Егор хотел подойти к ним, но передумал. Всадников нет, не видать ни белого коня, ни его хозяина. В гудящей, взволнованной толпе у церкви на Анохина поглядывали, узнавали, подходили. Отца не было в толпе. Ванятка ни на шаг не отклонялся. Не отошел и когда друзья-подростки позвали. Дверь в церковь закрыта, паперть пуста. Пальцы привычно сложились в щепотку, а рука потянулась ко лбу, перекреститься на Божью Матерь с младенцем над входом, но вспомнилось: нельзя, комсомолец, и Егор сделал вид, что поднимал руку, чтобы поправить буденовку.

Масловская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы небольшая, но аккуратная, стройная, ухоженная, какая-то воздушная, голубовато-розовая, внутри теплая, уютная. Хвалят ее за это в округе. Много народу с соседних деревень на престол собирается. Престольный праздник в Масловке – Покров, глубокой осенью, когда дела все сделаны, хлеба обмолочены, провеяны, лишняя скотина продана.

– Идут, – колыхнулась толпа.

Вдоль ограды быстро шагал черный человек маленького роста в папахе, в затянутой ремнями кожанке, тот самый, которого видел Егор на белом коне. За ним гурьбой – трое красноармейцев и высокий парень со сдвинутой на затылок шапкой. Егор узнал Мишку Чиркунова. Он сильно возмужал за эти три года: усы загустели, лицо, будто копченое, задубело. Только близко посаженные глазки прежние: озорные, веселые, шальные.

Толпа молча и быстро раздалась, освободила проход к паперти. Невысокий черный человек в папахе, Маркелин, совсем юный мальчик: носатый, краснощекий, кожа нежная, должно быть, не бреется еще, но глаза стальные, злые. Егору показалось, что новые узкие валенки мальчика ужасно жмут ему ноги, вот он и мучается, злится на себя, что надел их. Шел он по проходу быстро, ни на кого не глядя, сжимал в руке плетку. Прошуршал снегом, проскрипел ремнями и кожей мимо Егора и легко взбежал по ступеням на невысокую паперть. За ним три красноармейца и Мишка Чиркунов. Это шествие показалось Анохину наигранным, неестественным. Мальчик играет роль.

– Товарищи! – круто повернулся, вскинул голову Маркелин, крикнул зычно поверх голов крестьян. – Дорогие мои! Два года Красная Армия ведет непрестанную борьбу со всеми врагами трудового народа. Два года без устали отражает нападение своих и иностранных бандитов, стремящихся вернуть помещикам землю, капиталистам фабрики и заводы. Несмотря на все препятствия, до сих пор нам удавалось накормить, обуть и одеть доблестную Красную Армию, спасти от голода и холода население центра Советской России...

Суровый мальчик раскачивался, рубил воздух рукой с плеткой, поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, но кричал поверх голов. Ни на ком не останавливал взгляд. Голос у него оказался неожиданно мощным, громким, зычным.

– ...Все, что нужно нашей героической Красной Армии – мы дадим! Без полной поддержки тыла Красная Армия не может вести решительной и энергичной борьбы с мировыми хищниками. Наш боевой девиз: всё для Красной Армии, всё Красному фронту! Чем скорее,

тем лучше! Да здравствует всемирная пролетарская революция! Да здравствуют вожди Революции товарищи Ленин и Троцкий!

4. Третья печать

Имеющий меру в руке своей.
Откровение. Гл. 6, ст. 5

Маркелин опустил руку. Народ молчал. На некоторое время наступила тишина. Слышно, как фыркнула лошадь за оградой, звякнула удилами. Маркелин, видимо, не ожидал такой тишины, что-то вроде растерянности появилось у него в глазах. Егор стоял в первых рядах возле ступеней паперти и хорошо видел его лицо.

– Да, забыл сказать, – не громко и не столь торжественно, как-то буднично проговорил в тишине Маркелин. – Вам нужно сдать дополнительно к продразверстке по двадцать одному яйцу с десятины, по двадцать пять фунтов хлеба и по двадцать фунтов картошки с едока...

Толпа охнула, колыхнулась, зашумела. Раздались крики:

– Почему?

– Мы выполнили!

– Все сдали!

– Тихо! – рявкнул Маркелин. – Говорю, дополнительно и добровольно! В подарок Красной Армии!.. Говорите по одному, и сюда! – указал он плеткой на паперть. – Я лицо контрреволюционера хочу видеть. Глаза в глаза!

Крики прекратились, но гул и ропот стояли. Охотников выйти на паперть не оказалось.

– Товарищ, товарищ, – заговорил негромко, обращаясь к Маркелину, стоявший неподалеку от Егора дед. Был он небольшого росточка, в старой шапке с надорванным ухом, в вытертом полушубке, в подшитых валенках. – Я спросить хотел...

– Поднимайся сюда, – приказал Маркелин.

– Не, я отцеда, я не нащот Красной Армии... Она тоже исть хочить. Я нащот товаров... По указу обещано нам, коль мы разверстку исполнили, мануфактуры два аршина, карасину поболее двух фунтов на едока...

– Я понял... Какое число сегодня, знаешь? Двадцать седьмое февраля, а в указе сказано – выдать до первого августа!

– Ну да, ну да, – согласился дед. – Это карасин и мануфактура... Месяц исшел, а где ж четвертушка фунта соли, полкоробка серников. Каждый месяц обещано давать... Ты не подумай чаво, я не контрреволюция... Соли нету...

– Будет вам соль, в марте за два месяца получите... Ну, так что, согласны сделать подарок Красной Армии? Давайте по домам. И срочно сюда, к церкви, хлеб, картошку, яйца. И пять подвод, чтоб отвезти на ссыпной пункт.

– Не согласны! – выкрикнула какая-то женщина из задних рядов. – Нету хлеба! Вымели под греблю. Хучь с сумой иди...

– Почему в Киселевке по восемь фунтов хлеба взяли, а с нас двадцать пять? – с другой стороны взвился мужской голос. – Мы рази богаче? Где Докин? Почему его нет? Где советчики? Мы их на чо выбирали!

Докин – председатель сельского Совета. Действительно, ни его, ни отца до сих пор не было видно. Где отец? Куда делся?

Прояснил Маркелин.

– Я арестовал ваш кулацкий Совет за контрреволюционную агитацию. Мы их будем судить революционным судом!.. Потому, прежде чем вы пойдете за хлебом, нужно избрать нового председателя сельского Совета. Я предлагаю кандидатуру Чиркунова Михаила Трофимовича! Кто против этой кандидатуры, поднимите руку! И повыше!

Егор оглянулся. Никто руки не поднял. Но один торопливый вскрик раздался:

– Не жалаем дезентира!

– Кто крикнул?! Кто? Выйди сюда, – шагнул к толпе Маркелин. – Найти крикуна! – вытянул он руку с плеткой в ту сторону, откуда крик раздался.

Два красноармейца, как гончие, завидев зайца, слетели с паперти, ввинтились в толпу, продираться стали к тому месту, откуда крикнули. Остались наверху вместе с Маркелиным Мишка Чиркун и чернявый красноармеец с веселыми смешливыми глазами. Он все время улыбался, шевелил густыми черными бровями, вскидывал их радостно иногда, словно был на спектакле. Мишка стоял рядом с ним и тоже посмеивался в усы. Не посерьезнел даже тогда, когда предложили его на место председателя сельского Совета.

– Здесь крикун! – донесся возглас из толпы. – Вот он!.. Сюда идите... Ага, он. Держи его, держи крепче...

Гул, шелест по толпе прошел. Красноармейцы тащили человека, и почему-то их сопровождал сдержанный смешок. Улыбнулся и Егор, когда увидел, кого тащат красноармейцы. В их руках бился, вертелся Коля Большой, деревенский дурачок. Он сопел, упирался ногами в снег, высунув мокрый язык, сопатился. Красноармейцы подтащили его к ступеням, на паперть поднимать не стали. Поняли по смешкам, что не того взяли.

– Это ты крикнул? – строго спросил сверху Маркелин.

– Ага, – радостно кивнул Коля Большой и провел рукавом по верхней губе, размазал по щеке сопли.

– А что ты кричал? Крикни-ка еще раз.

– Не жалаем дезентира, – гнусаво просипел Коля.

Снова смешки раздались.

– Отпустите его, – сказал Маркелин и зычно заорал в толпу. – Выборы состоялись! Большинством голосов председателем сельского Совета избран Чиркунов Михаил! А Совет он себе подберет сам. Теперь расходитесь. Жду вас с хлебом...

– Где мы его возьмем? Всё сдали!

– Товарищи! Я не понимаю вас, в Красной Армии ваши же сыны, братья. И вы не хотите, чтобы они были обуты, одеты, накормлены? Товарищ красноармеец, – вытянул руку Маркелин в сторону Егора. – Да, ты, ты! Поднимись, расскажи, в каких условиях сражается Красная Армия! Иди, иди...

Егор смутился, оглянулся растерянно: отказаться?

– Иди, просють, – подтолкнул его кто-то сзади.

Анохин нерешительно поднялся на паперть.

– Коммунист? – спросил у него вполголоса Маркелин.

– Комсомолец...

– Ну, вот и врежь им по-комсомольски!

Растерянный Егор стоял на паперти, глядел на молчаливую толпу и не знал, что говорить. Дрожь охватила его, словно внезапный озноб налетел. Лиц ничьих он не различал, сплошная масса.

– Расскажи, какова на фронте житуха, – подсказал сзади Мишка Чиркун.

– Да, жизнь на фронте не сладкая, – начал негромко Егор. – Пирогов в постелю не подают... – И запнулся.

Кто-то засмеялся в толпе, подковырнул ехидно:

– Оратель выискался!

Егор обиделся, разозлился, крикнул:

– Да, пирогов не подают! Да и постеля не каждый день бывает. Ляжешь у костерка на шинелюшку, да шинелюшкой и укроешься. И холод, и голод – все бывало. И под пулями, под пулями... – Он приостановился, перестал орать, сказал тише. – Без вашей помощи мы ничего не сделаем, не поборем белых хищников. Нужен хлеб, мужики, нужен...

– И нашим детям нужен! – крикнул дед в драной шапке, тот, что спрашивал, когда соль будет, и Егор узнал его: это был Аким Поликашин. – Нам тоже с голодухи пухнуть неохота... Мы с твоим отцом в поле хрип гнули, а Маркелин прискакал – и под гребло. Мякину оставил! И ту забрать хочить... Ловок ты лялешничать!.. Нету хлебушка у нас, весь выгребли, пока ты сашкой махал!

Ничего не ответил Егор, хотел сойти с паперти, но Мишка ухватил его сзади за руку, приобнял, отвел за спину к Маркелину, который заорал яростно на Акима Поликашина:

– Ты мне контру не разводи! Выпорю!

– Зна-ам мы, скор на руку... Не думай, не век тебе царевать, дойдет и твой черед!

– Что-о! – шагнул с одной ступеньки Маркелин к деду и обернулся, приказал: – Выпороть! Сейчас же.

Те два пса, что вытащили Колю Большого, снова с готовностью скатились с паперти, подхватили деда под руки, довольные тем, что теперь легко смогут выполнить приказ. Один из них поймал на лету брошенную Маркелиным плетку. Анохин смотрел, как деда кинули на скамейку возле куста сирени, где обычно отдыхали старушки после заутрени, содрали штаны, взвилась плетка, и багровый рубец проступил на серой коже старика. Дед дернулся. Снова взвилась плетка. А Мишка совершенно не замечал истязания старика, говорил Егору, что рад его видеть. Расспрашивал: насовсем ли? Подошел Маркелин, протянул Егору руку. Познакомились. Маркелин похвалил за выступление, подбодрил: это начало, мол, научишься, и он, когда в первый раз перед народом встал, язык проглотил. А теперь часами может беседы вести, да некогда, деревень много, а народ, вишь, какой – кулаки, добром не отдают хлеб, каждый фунт вышибать надо... И чернявый руку протянул, назвался. Звали его Максимом. Заместитель комиссара продотряда, то есть Маркелина.

– Кстати, Егор сын Игната Анохина, члена сельского Совета, – сказал Мишка Маркелину с каким-то умыслом.

– Игната?.. Беспокойный мужик... – Маркелин заметил, что Егор морщится, страдальчески смотрит, как извивается на лавке дед под кнутом, и сказал: – Мужика пока не выпорешь, он не поймет, что от него требуется... – Потом крикнул своим псам: – Довольно! – И заорал в толпу: – Сход закончен! В течение двух часов чтоб каждый двор сдал яйца, хлеб, картошку... Найдете! А не найдете, я найду! Кто не привезет, пусть пеняет на себя!

Он повернулся спиной к крестьянам, глянул на Мишку.

– Пожрать надо сообразить что-нибудь... У кого, ты говоришь, сальцо есть, огурцы соленые? Давай, командуй, кто у тебя тут из ребят пошустрей?

Чиркун оглядел из-за его плеча расходящуюся понурую толпу, позвал громко:

– Андрей, поди сюда.

Андрей Шавлухин, ожидавший вместе с Ваняткой Егора, взбежал к ним.

– Хочешь быть членом сельского Совета, а?

Серые глаза Андрея загорелись, губы не удержались, расплзаться стали.

– Ага, вижу – хочешь... Ты комсомолец – справишься! Первое тебе задание: надо реквизи́ровать у Алешки Чистякова соленые огурцы, так, так... – Чиркун посмотрел на Маркелина.

– Пятьдесят штук, – бросил тот кратко.

– Пятьдесят штук огурцов и три фунта сала.

– Мало, пять, – подсказал Маркелин.

– У попа вот такие моченые яблоки, – выставил Андрей большой палец вверх.

– Молодец, соображаешь, – похвалил Маркелин. – Сто штук. Скажи, реквизи́ция производится по указанию уездного Совета.

– А если не поверят?

– Скажи, распоряжение у Маркелина, – он поднял вверх плетку, – если сомневаются, сам заеду, покажу, неделю чесаться будут.

– А к яблочкам, естественно, – улыбался хитренько Андрей.

Максим захохотал, хлопнул по спине Мишки.

– Ну и орла ты выбрал! Парочку еще таких, и за Масловку я спокоен, – и обернулся к Шавлухину. – И это, ессесно, да поскорей!

– У кого, у Ольки Миколавны? – смотрел Андрей на Чиркуна.

– Вонючий у нее, зараза... У нее завтра реквизируем. Щас у Гольцова, у него почище и покрепче.

– Может, эта... Один я не донесу... Мне бы красноармейца... на первый случай, чтоб потом знали, а?

– Соображает, стервец, – улыбнулся в первый раз Маркелин и повернулся к красноармейцам, поровшим Акима Поликашина. – Ребята, под его команду ровно на полчаса. Возьмите сани!

Крестьяне разошлись, очистили церковный двор, ставший сразу просторным. По ту сторону ограды поджидал Егор Ванятка.

– Идем с нами, посидим, полялешничаем, – удержал Анохина Мишка.

Егор не отказался. Беспокоил отец. Узнать хотелось, что он наговорил им? Что с ним собираются делать? Отпустят ли? Может, за столом размягчают, уговорит он их, отпустят отца.

5. Четвертая печать

И дана ему власть умерщвлять мечом и голодом.
Откровение. Гл. 6, ст. 8

Не успели из саней вылезти возле избы Чиркуновых, как услышали в притихшей деревне бодрое покрикивание, понукание, увидели скачущую лошадь. Подождали у плетня. Андрей Шавлухин, стоя в санях, погонял лошадь, покрикивал. Оба красноармейца сидели сзади. Подскакали. Андрей улыбался во весь рот.

– Готово, – доложил он и взял у одного красноармейца четверть сизого самогона, которую тот держал под шинелью. – Вот оно, лекарство от всех скорбей.

– Ух ты, даже гармошка! – воскликнул Максим. – Ну, ты, брат... – И не нашел достойного слова – похвалить.

В маленькой избенке Чиркуновых сумрачно. Стекла обоих окон затянуты толстым слоем инея. Отец Мишки, Трофим, худой мужик со спутанной бородой, увидев четверть, закричал на печи, развернулся, выставил зад в заплатанных штанах. Нашупал голый ногой гарнушку и, держась за грядущку печи, спустился на пол. Надел валенки с дырявыми носами.

– Чего ты не подошьешь? Палец отморозишь, – указал на дыру Андрей Шавлухин.

– А-а, – махнул вяло рукой Трофим. – Некогда.

– Весь день на печи, а некогда? – засмеялся Андрей.

Закурили разом, глядя, как мать Мишки, высокая сутулая баба, складывает в глубокие глиняные чашки яблоки, огурцы, как Трофим, кряхтя и покашливая, режет сало, хлеб. Комната быстро наполнилась дымом. Но его не замечали в сумраке, пили, ели, обсуждали – удастся или не удастся выколотить из мужиков хлеб с картошкой. Егор молча слушал.

– Загнул ты с двадцатью пятью фунтами, – сказал Чиркун Маркелину. – Многовато. Ско-сти... Хотя бы пятнадцать или на худой конец двадцать.

– Отступать не буду... Увидишь – привезут.

– А с Советом что ты хочешь делать?

– С Советом? Погляжу, – хмельно оскалился Маркелин. – Еще не придумал, – и взглянул на Егора: – Не бойся. Оставлю я в живых отца... Но уговорить его надо. Слишком неугомон-ный. Много еще хлопот Советской власти принесет...

– Я враз угомоню, будь спокоен, – ухмыльнулся Мишка.

– Эх, зарубку я им на память сделаю! – воскликнул Маркелин, видимо, решив, как быть с членами сельского Совета. – Узнают, как Маркелину перечить!

Андрей Шавлухин улыбался, прислушивался к разговору, а сам потихоньку тянул гармошку туда-сюда у себя на коленях.

– Чего ты пиликаешь, – глянул на него Трофим. – Играть, так играй бодрей.

– Максим, рвани-ка! – подмигнул своему заместителю Маркелин.

Максим взял гармонь, подергал, принаравливаясь к ней. Сразу обнаружил, что два клапана западают, меха худые – воздух шипит. Но неважно, не на сцене, и заиграл уверенно и громко, запел. Егор узнал его высокий голос. Это он утром пел о том, «какая благодать кости ближнего глотать».

– Крутится-вертится шар голубой... Эх-да! Крутится-вертится да над головой... – пел Максим.

– Брось! – остановил его Маркелин. – Давай лучше «Цветы ЧеКа». – И объяснил всем: – Мне его из ЧеКа дали. Маркелину кого попало не дают. Знают... Мне наш губпродкомиссар наказывал: не жалея родных мать-отца, когда задания партии выполняешь! И я не жалею.

Максим с шипением сдвинул меха гармони и запиликал, запел, играя своими черными бровями.

*На вашем столике бутоны полевые
Ласкают нежным запахом издалика,
Но я люблю совсем иные
Пуницовые цветы ЧеКа.*

Максим пел озорно, легко, вздергивал черную бровь, подмигивал Андрею Шавлухину, который влюбленно улыбался, глядя, как он играет, как поет.

*Когда влюбленные сердца стучатся в блузы
И страстно хочется распять их на кресте,
Нет большей радости, нет лучших музык
Как хруст ломаемых и жизней и костей.*

*Вот отчего, когда томятся Ваши взоры
И начинает страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на Вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»*

– Ловко, а! – захохотал Андрей восторженно, налил полстакана и протянул Максиму. – А с каких лет ЧеКа на работу примает?

– В ЧеКа с улицы не берут, – взял стакан Максим, держа гармонь на коленях. – Нужны заслуги перед партией, народом. Поработай в Совете, поглядим, может, и ты удостоишься доверия.

Поговорили еще немного, и Маркелин поднялся: пора дело делать, день короткий. Показали назад, к церкви. Сани постукивали, подпрыгивали на ухабах, шипели по накатанной дороге. Сытая лошадь помахивала хвостом на бегу, попеременно показывала желтые подкованные копыта, бросалась снегом. Еще издали увидели возле ограды двое оставшихся саней, да отряд красноармейцев рядом. Никто из крестьян не привез ни фунта.

– Твою мать! – ругнулся зло Маркелин, снова входя в роль, хлестнул плеткой по задку саней. Блестящие глаза его остекленели. – Они запомнят, запомнят... Отряд! Слушай мою команду! Разобраться по пяткам!.. Солодков, со своим пятком в Вязовку! Ужанков, на Хутор! Трухин, на Масловку! Ивакин, в Крестовню! Юшков, в Угол! Быстро по дворам! Кто не сдаст хлеба, забирать всю скотину: овец, коров, лошадей, и гнать сюда, в ограду, – указал он плеткой на церковь. – И быстро! Засветло надо сделать. Выполнять приказ!

Красноармейцы с сумрачными лицами зашуршали снегом, по пятеро двинулись в разные стороны деревни. У Егора тоже было тревожно на душе, хоть и захмелел. Такое ощущение, будто ввязался он в неприятное, нехорошее дело. Он буркнул Мишке:

– Я пойду... скажу своим, чтоб сдали... – И, не дожидаясь ответа, пошел следом за красноармейцами в Угол.

Мать по-прежнему была хмурая, сердитая. Они со снохой сидели на полу, на тряпках, щипали козу, лежавшую со связанными ногами между ними. Серый козий пух воздушной горкой возвышался на старой шали под приступкой. Сноха притихшая, молчаливая. То ли чувствовала настроение свекрови и не тревожила ее разговором, то ли мать успела отругать ее за что-то. Ванятки не видать. Услышав скрип двери, мать обернулась, сказала ехидно:

– Оратель явился... Где отец? – Видно, кто-то, Ванятка или кто из соседей, сказал ей, что Егор выступал на сходе, и она не одобрила это.

– Арестованный... Со всем Советом... Отпустят.

Мать, сердясь, наверное, слишком большой клок пуха уцепила, рванула. Коза вскинула голову, закричала жалобно. Мать резко придавила ей голову ногой. Стукнули, заскребли по полу большие ребристые рога козы.

– Лежи!

Егор с виноватым видом, не раздеваясь, сел на лавку у двери.

– Мам, хлеб надо сдать... приготовить. Щас красноармейцы привалят...

– У тебя он есть, хлебушек, ты и сдавай! – кинула мать. Она яростно рвала пух так, что бок козы дергался. – Щедрый какой... Где его взять-та. Сами одним кулешом перебиваемся... За семенной браться? Пожрать, а потом зубы на полку? Так?

– Ничего рази нет? – тихо спросил Егор.

– Глянь, поди, в ларь... Пусто! До зернышка выгребли. Сроду такого не было.

– А как же быть? Они сейчас всю скотину заберут, – пробормотал Егор.

– Как заберут? Куда? Кто им даст?

– Не спросят. Приказ Маркелина... Собрать в ограду церкви, и держать, пока не сдадите...

– Как же так? Майке телиться скоро...

– Вот и отелится... в снег. Да и с отцом как бы чего... если заартачимся...

С улицы шум донесся, крики, блеяние овец. Егор выглянул в окно. Мать поднялась с пола, тяжело опираясь на колени, подошла, долго смотрела, как овцы, коровы топнут в снегу по брюхо, как кричит на кого-то невидимого из окна красноармеец, грозит винтовкой. Началось.

– Царица небесная, заступница ты наша, когда же кончится эта мука! – запричитала мать. – Господи, за какие же грехи ты нас наказуешь! Чего же мы сами исть будем, чем же питаться? Святым духом...

Она, вытирая глаза, горбясь, двинулась в сенцы. Егор пошел следом.

Когда разгоряченные красноармейцы, стуча сапогами, ввалились к ним, Егор с матерью взвешивали безменом рожь и ссыпали в мешок.

– Сами привезем, – буркнул Егор.

Не мог вчера представить себе он, входя в тихую сонную деревню, что сегодня он увидит такое... Женские крики, взвизги под ударами плеток, мычание коров, утопающих в снегу, не понимающих, что от них хотят, куда и зачем гонят, хриплые голоса овец и тонкие, испуганные – коз. И это по всей деревне, со всех концов. Особенно шумно на лугу, у церкви. Все перемешалось здесь: овцы, лошади, люди, коровы, подводы. Кое-кто, как и Егор, наскреб оброк, сдавать привез. Очередь образовалась. Принимал и отмечал Мишка Чиркунов. Помогали ему Андрей Шавлухин и два таких же молодых паренька. Комсомольцы, догадался Егор, будущие советчики. Мужики неразговорчивые, сумрачные. Пакостно и на душе Егора, так пакостно, что ни на кого смотреть не хочется. И непонятно – то ли он виноват перед мужиками, то ли они перед ним. Жалко мать, отца. Он-то уедет через десять дней в свою часть, на готовенькое, а они перебивайся. Егор сидел на соломе в саях, смотрел исподлобья, как заполняется скотиной церковный двор, как распоряжается там Максим, покрикивает на ребятишек, чтоб помогали загонять. Маркелина не видно. Потом, когда пришли все красноармейцы, исчез и Максим.

Подводы, сгрузив зерно, картофель, яйца, отъезжали от Мишки Чиркунова. Мужики сразу оттягивали кнутами своих лошадей и мчались домой без оглядки. Только хриплые, густые голоса доносились: Но! Но! Зараза! – да шлепки кнутов по спинам невинных лошадей, мерное постукивание сбруй да хруст снега.

Скотина в церковном дворе орала на разные голоса, топталась в снегу. Ворота закрыли. Вдруг от двора Федора Гольцова, где в его крепком сарае были заперты арестованные члены Совета, донеслись выстрелы: нестройный залп и какие-то крики.

– Советчиков расстреливают, – ахнул кто-то.

Егор, готовившийся сдавать дань, прыгнул в сани, круто натянул поводья, раздирая удилами рот Чернавке, развернулся и погнал по разбитой дороге ко двору Гольцова. Сердце его яростно рвалось в груди, грохотало: убьют отца, зубами загрызу! Подскакал, и в это время новый залп грохнул, оглушил. Егор увидел человек шесть красноармейцев возле входной двери в сени избы Гольцова. Они смотрели в сторону сарая и смеялись. Из-за сарая выскочил белый мужик в исподнем, в нижней рубаше и в кальсонах. Бежал он по снегу босиком, держал в охапке полушубок, валенки и другую одежду. Егор не сразу узнал отца в этом ошалевшем мужике с растрепанной бородой. Узнал, кинулся навстречу. Отец шарахнулся от него. Анохин поймал его за рубашу, обхватил сзади, потащил к саням, чувствуя, как он дрожит, сотрясается весь, усадил на солому, стал помогать натягивать валенки на ярко-розовые мокрые ноги отца, укутывать в полушубок.

– Взвод! Пли! – услышал Егор и выпрямился, оглянулся на сарай, за которым что-то творилось. Треснул залп, раздался крик веселый: – Еще одну сволочь расстреляли! Тащи другую!

Егор, дрожа, кинулся туда, вылетел из-за угла и увидел, как от омета, засыпанного снегом, два красноармейца с веселыми лицами оттаскивали, волочили по снегу за руки мужика, который, как и отец, был в исподнем. Анохин, не помня себя, бросился именно на этих двух красноармейцев. Почему-то все зло, весь ужас расстрела сосредоточился на них. Ни пятерку бойцов с винтовками, ни Маркелина, командовавшего ими, ни Максима у двери сарая – он не видел, подскочил, врезал одному бойцу в челюсть, вкладывая всю силу. Тот не ожидал, упал навзничь, выпустил мужика. Егор сцепился с другим, оба покатались в снег. К ним кинулись, растащили. Егор извивался в снегу, бил ногами. Его скрутили, крича:

– Очумел, вахлак! Мы шуткуем! Смотри, очухался твой мужик. В омраке он, со страху! Вверх палили...

Анохин перестал биться, сел в снег. Лежавший на спине мужик, которого тащили от омета бойцы, зашевелился, перевернулся набок. Он оглядел всех белыми, как у бельюка, глазами, потом поднялся, опираясь голыми руками о хрустевший проминающийся снег. Шум возле сарая отвлек от него. Егор увидел, как в распахнутую дверь выскочил из полутьмы сарая Петька Докин, председатель сельского Совета, без шапки, с редкими короткими седыми волосами и широкой бородой. В руках у него – винтовка. Выскочил, ткнул штыком стоявшего у двери Максима, бросил винтовку и кинулся мимо сарая за омет. Максим шарахнулся от него назад, пятясь, ухватился за ствол винтовки, споткнулся о сугроб у стены и упал в снег. Докин, видно, не причинил ему вреда, сугроб спас. Максим вскочил сразу, перехватил винтовку за приклад и первым побежал за омет, за Докиным. Произошло это мгновенно. Все онемели, опешили. Егор, сидя в снегу, видел, как Докин выскочил из-за омета по ту сторону сарая и по целику, по сухим будылкам, торчащим из сугроба, проваливаясь, прыжками, помчался к катуху соседнего двора. Хлестнул выстрел... Максим стрельнул. А Докин еще быстрее, еще энергичней запрыгал по снегу. Катух уже близко, в пяти саженях. Над головой Анохина захлопали, оглушая, выстрелы. Красноармейцы, кто стоя, кто с колена били по бегущему председателю. Перемахнуть через сугроб осталось ему и два шага до угла. Но упал на четвереньки в сугроб Докин, утоп обеими ногами, застрял, застыл на месте. А выстрелы все хлопали. Оглянулся Докин напоследок и ткнулся седой бородой в снег.

Егор поднялся, дрожа и покачиваясь, побрел к саням мимо сарая. Внутри, в полутьме что-то делали люди, слышались негромкие голоса.

– Сердечником он их... Сердечник в сарае валялся. Ох, не заметили мы...

– Тащи их на свет!

– Теперь им все равно: что свет, что тьма.

– А может?..

– На можа плохая надежа.

Навстречу Егору вытащили, положили в снег двух красноармейцев с пробитыми головами, с залитыми кровью лицами. Анохин узнал тех самых псов Маркелина, которые с такой охоткой, разудало ввинчивались в толпу за Колей Большим, потом пороли деда Акима Поликашина. Один из бойцов вынес из сарая железный сердечник от телеги, кинул в снег рядом с убитыми. Егор не остановился, прошел мимо. Отец лежал в санях, на соломе, возле мешков с зерном, дрожал: полушубок и шапка его содрогались. Анохин сел рядом, хлестнул лошадь.

6. Пятая печать

*И сказано им, чтобы они успокоились еще на
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут
убиты, как и они, дополнят число.*

Откровение. Гл. 6, ст. 11

Два дня отец не вставал с постели, отлеживался, думал. Тихо в избе было, говорили вполголоса, как при больном. Егор понимал, что пока о сватовстве заговаривать не время. Оклемается отец, тогда... Настеньку он видел. Оба вечера провел с ней. Сказал ей, что как только отец отойдет малость, придут свататься. Настенька, узнав от подруги, что Егор вернулся в Масловку и ждет ее на улице, выскочила на крыльцо раздетая, кинулась к нему, обняла, заплакала. Он не ожидал такой бурной встречи. Сердце защемило от нежности, счастья. «Касаточка ты моя! – прошептал Егор со слезами на глазах. – Как я тебя лелеять буду!» Он заметил, что она изменилась, стала грустна, пуглива, все время будто бы прислушивалась к чему-то, ждала чего-то опасного для себя, говорила Егору, что отец боится, что новая власть скоро закроет церковь, а его со всей семьей сошлет на Соловки. Ходят такие слухи по Борисоглебску, куда поп частенько навещался по своим служебным делам. Настенька с грустной тихой улыбкой сказала Егору на другой день, что отец ее просиял, когда узнал, что надо сватов ждать, перекрестился с надеждой, что она будет пристроена, что власти не посмеют тронуть ее, если она замуж выйдет за красноармейца.

На третий день, когда хоронили Докина, Игнат Алексеевич Анохин встал, молча собрался, пошел на похороны. Мать было заступила ему путь: не пущу. Но он глянул на нее, отодвинул. Она не стала упорствовать: Маркелин собрал оброк и покинул деревню. Вернулся отец с поминок порозовевший немножко, хмельной. Взял кошелку, сам решил задать скотине корма на ночь. Егор помогал ему. Входя в избу за чем-нибудь, видел, как мать беспокойно прислушивается, что делает отец в катухе, потом не выдержала, спросила, с тревогой и надеждой вглядываясь в лицо сына:

- Как он? Разговаривает со скотиной?
- Разговаривает.
- Слава те Господи! – кланяясь иконам, перекрестилась мать.
- За ужином отец сказал ей:
- Следить надоть – корова не ныне-завтра отелится.
- Я заметила, – согласилась мать.

Больше за ужином слова не было сказано. Глухо стукали деревянные ложки об алюминиевую чашку да слышались прихлебывания. Отец, выйдя из-за стола, как обычно, три раза широко перекрестился, сел на сундук, стал вертеть сигарку, задумчиво уставившись в пол. Закурил от лучины, еле освещавшей избу, и поднялся, сказав вслух самому себе:

- Идти надоть...
- Куда эта? – обернулась от судника мать. Егор догадался, что она все время следила за отцом, прислушивалась.
- Не далёко.
- Сидел бы... Прищемил...

Отец не ответил, надел полушубок, шапку, достал потертые меховые рукавицы, на пороге приостановился, глянул на Егора, хотел что-то сказать, но промолчал, вышел.

- Егор тоже потянулся к шинели. Скоро встреча с Настенькой.
- А ты куда?
- На улицу.

– Какая тебе улица теперь? Не праздник, небось...

– Комсомольцы ничего не признают, – поддержала мать сноха. – Песняка режут, как в праздник.

– То комсомольцы, – вывернула мать. – Анчутки проклятые, отродья анчихристовы!

– Мам, и я комсомолец, – тихо признался Егор.

Мать повернулась к нему, опустила руки. С тряпки, которой она мыла посуду, стекала, капала на пол вода. Егор засмеялся, подошел, обнял ее, прижал к груди, поглаживая ладонью по спине.

– Видишь, не все комсомольцы анчихристовы дети. Рази ты анчихрист, а я анчутка?

– Зачем ты? – жалобно прошептала ему в грудь мать.

– Мам, я за новую жисть воюю, а потом... потом буду строить ее, новую жисть.

– Кому она нужна такая жисть? Большакам-коммунистам? Рази власть дана, чтоб изгальтаться над народом? Ежли они себя народной властью величают, должны народ защищать, а не измываться над ним... Видал, каково при новой жисти. Зубы на полку клади. Не нужна нам такая жисть!

– Мам, это сперва трудно. Сметем всех, кто мешает, и зачнем жить по-новому.

– Охо-хо! Дай Бог, дай Бог... Но чо-то дюже не верится...

Звезды на небо крупные высыпали, перемигиваются. Снег бодрячком повизгивает под ногами. Хорошо шагать по вечерней деревне. Собаки то тут, то там взгавкивают. Окна изб в большинстве своем черны. Только кое-где теплятся, горит лучина. Керосина почти ни у кого нет. А у кого есть, бережет на черный день: время такое, что черные дни на пороге стоят. Облюбуют дом, только успевай отворять ворота.

К Настеньке идти еще рано, попозже договорились встретиться, и Егор решил заглянуть с Ваняткой на гулянку.

– У кого ребята собираются теперь? – спросил Егор у брата, шагавшего рядом уверенно.

– Да все там же, где и вы собирались: то у Иёнихи, то у Парашки Богатовой, а када и Кланька Цыганочка пускает... Но боле у Иёнихи. По щепотке соли соберем, она и рада – неделю играем.

В этот вечер тоже у Иёнихи были. Дружков прежних не видать, все на фронтах. Или в бегах. Дезертиры по гулюшкам не шляют. Зимой, как отец рассказывал, взялись за них. Человек двадцать из Масловки выдернули, воевать отправили, а Пантелея Булыгина судили в Борисоглебске. Теперь в Тамбове в концлагере сидит. На пять лет определили. Сам сказывал. Видели его в Тамбове на станции, пути от снега чистил. Довольный. Лучше, чем на фронте кровь лить да мерзнуть...

Посидел Егор немного у Иёнихи, поскучал и пошел к Насте, подождал ее у колодца, приплясывая на морозе. Потом гуляли с ней по скрипучей накатанной санями дороге, держась за руки в шерстяных варежках. Настя была грустна, молчалива. Он тоже молчал, рассказал только, что отец сегодня поднялся, ушел к мужикам. Что-то они затеяли. Завтра он, Егор, посмотрит какое будет настроение у отца, поговорит с ним, может, вечером придут свататься. Настя в ответ благодарно пожала ему руку и прижалась щекой к плечу, к жесткой колючей холодной шинели. Он быстро клюнул губами ее холодную щеку, и они молча пошли дальше, грустно хрустя снегом. Ночь была печальной, нелюдимой. Большие звезды застыли на черном небе, не перемигивались. Свет их казался угрюмым, чужим, мертвым. Не было того ощущения бесконечного счастья, которое не покидало их весной семнадцатого года. Только печаль, грусть да непонятная тревога.

Гуляли недолго. Услышали вдали звонкие на морозе голоса ребят, возвращающихся от Иёнихи, и Настя сказала:

– Пошли и мы, зябко!

– Что тебе так гнетет? Почему ты так изменилась, о чем ты тоскуешь? – тихо спросил Егор.

– После свадьбы повеселею, обещаю тебе, – снова прижалась Настя щекой к его плечу. – Печаль моя к тебе никак не относится... Пошли быстрее, я не хочу ребят видеть...

Егор подождал Ванятку возле первой избы Угла, и они пошли домой вместе.

– Не озяб в шинелишке-то, – спросил брат.

– Есть малость... Смотри-ка, чтой-то в катухе у нас огонь! – воскликнул тревожно Егор. – Случилось что?

– Майка, должно, отелилась!

Они побежали к избе, резко закрипели снегом.

– Где вас носить?! – заругалась мать, услышав их шаги в сенях. – Корове телиться, а они все разбежались. Ни отца, ни их...

Вошла она со двора с тускло горевшим фонарем.

– Опросталась? – схватил Егор старую дерюжку с ларя.

– Не спеши, пушай оближет маненько, – удержала его мать, прикручивая фитиль, чтоб даром керосин не горел. – Обошлось вроде. Телочка, слава те Господи!

Пестрый, бело-коричневый теленок лежал на соломе, дрожал, раскачивал беспомощно головой. Майка стояла над ним и облизывала ему спину, выглаживала языком шерсть. Не подняла голову, когда вошли Егор с матерью и Ваняткой, осветили, только скосила глаз на них, словно понимала, что новорожденного отнимут сейчас и увидит она его только весной, и продолжала торопливо исполнять свою нежную работу, лизать, гладить языком дрожавшего теленка.

– Майка, Маечка, – приласкала, поводила рукой мать по хребту, шее коровы, – намучилась бедная... Ну хватит, хватит лизать. Мы телочку в тепло унесем. Там хорошо... Будем поить молочком твоим, холить будем, обхаживать... Бери, Егорка.

Анохин обернул дерюгой мокрого теленка, обхватил руками и понес в избу, стараясь держать так, чтоб не испачкать в слизи шинель. Сноха уже приготовила за печкой под палатами угол, настелила соломы. Ягнята с козлятами путались под ногами, когда Егор нес в закуток телочку, укладывал, шуршал свежей соломой, поправляя неловко вытянутую заднюю ногу теленка.

– Лежи, лежи, сейчас отогреешься, – приговаривал он. – Кшыть, любопытный! – шлепнул ладонью по мягкой кудрявой спине ягненка, отогнал. – Познакомишься, успеешь! Дай малышу отогреться!

Отца долго не было. Егор лежал на полатах рядом с тихонько сопевшим братом, слышал, как вздыхала на кровати мать: беспокоится, не спит. Но когда отец пришел, слова не сказала, не спросила. Он помолился, пошептал, улегся в постель и вымолвил вполголоса:

– У Митьки Амелина были... Думали, как жить дальше.

– И чего ж надумали? – шепотом спросила мать. По ее тону легко можно было догадаться, что она не одобряет эти думанья.

– Жить так дальше нельзя...

– Не нам решать, – буркнула мать.

– Нам! Вот именно нам, – взвился, зашептал сердито отец.

Мать умолкла, и больше они ни слова не проронили.

Утром Егор вытянул из-под снега возле риги пучок длинных ровных ветловых прутьев, приготовленных загодя, осенью, оббил от снега. Принес в избу, кинул на пол: собирался вершу плести. Обруч он согнул еще вчера. Отец задал корм скотине, освободился, сидел у окна на сундуке, листал школьную тетрадь.

– Егорша, ты вот что, – позвал он сына каким-то просительным, несвойственным ему тоном, – глянь сюда... Ты грамоте шибко обучен, прочти, ладно ли мы написали? Можя, подправить что, переиначить?..

– А что это? – взял тетрадь Егор.

– Мирской приговор. Ныне примать на сходе будем. Вчера написали.

Егор сел на сундук рядом с ним, стал читать.

МИРСКОЙ ПРИГОВОР

Мы, трудовые крестьяне-земледельцы, граждане деревни Масловки, собравшись на сельский сход 3 марта 1920 года, постановили следующий мирской приговор:

Заявить правящему в России Совету Народных Комиссаров и ЦИК Советов, что мы ждали с падением старого царско-чиновничьего правления счастливой вольной жизни, а между тем после недолгой передышки видим, как в новом виде восстанавливаются все тягости и весь гнет старого строя.

Мы решили поэтому изложить все наши горести, обиды и жалобы по пунктам:

1. От нынешнего правительства нам была обещана земля без всякого выкупа. Но с тех пор в виде всяких поборов, реквизиций, обыкновенных и чрезвычайных налогов, платежей, конфискации, повинностей и нарядов с нас несколько раз выбрали выкупную цену, и все же земля ныне не наша, не народная; советские чиновники всегда, когда им заблагорассудится, могут отрезать ее, и, действительно, отрезают для разных коммун и советских хозяйств, в которых мы покуда не видим ничего, кроме бесхозяйности и дармоедства, убыточных и для народа и для правительства.

2. Нынешнее правительство не сумело с самого начала провести по всей России правильное и безобидное распределение земли между нуждающимися в ней, и этим между нас создались земельные споры, неравенство и зависть, и отчуждение. А власти, пользуясь этим, то и дело вмешиваются в наши дела для разных перемереживаний, отрезков и прирезков без твердого и равного для всех закона, единственно по своему произволу. Поэтому ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне, а без этого не может быть и правильного хозяйства.

3. В поставленных над нами властях мы почти не видим знающих и понимающих наше земельное хозяйство людей, а чаще всего встречаются никчемные, бесхозяйные, неумелые люди, настоящие никудышники, которые во все мешаются, все путают, злоупотребляют своей властью, не отдавая нам никакого отчета и не зная над собой управы. Никто их не уважает и настоящей властью считать не может.

4. Мы поэтому от властей не видим никогда нужной нам помощи в обсеменении, в продовольствии, в снабжении нас мануфактурой, керосином и солью, в обновлении нашего износившегося инвентаря; дорожное, школьное и больничное дело мы видим в полном забросе. Словом, нынешние власти нам бесполезны, и ничего, кроме поборов, понуканий, мы от них не видим.

5. За отбираемые у нас по твердым ценам плоды наших тяжелых трудов нам не только не поставляют по таким же твердым ценам городских товаров, но мешают их приобретать даже по вольным ценам. Хуже, чем в помещичьи времена, всю Русь перепоясали заставами и наводнили заградительными отрядами, о которых ничего больше не скажем, кроме того, что повсюду их называют заграбительными отрядами.

6. Мы так замучены всякими натуральными повинностями, что зовем их старым именем барщины. Мы, труженики деревни, не отказываемся работать и на общегосударственные нужды, но только при условии, чтобы и наши нужды принимались во внимание государством. А между тем во всем государстве мы видим безурядицу и разруху, и прекращение правильного производства. Города переполняются людьми, живущими на казенном содержании либо

совсем без дела, либо в суете вокруг пустого места, а содержать всех приходится опять-таки одной деревне.

7. А между тем мы видим, что всеобщая кормилица – деревня начисто отстранена от всякого участия в управлении государственными делами. То и дело выходят новые постановления, узаконения и декреты, но никто нас не спрашивает, удобны ли они для нас и каково нам при них живется. Обрушиваются они на нас каждый раз, словно снег на голову, и никаких наших выборных людей заранее с ними не знакомят и об утверждении их не спрашивают.

8. Хотя и числится, будто бы у нас существуют нами самими свободно выбираемые советы, однако это одни слова: к нам вечно пристают с указкой, кого мы должны, кого не должны выбирать, и с угрозами и застрачиваниями. Да и не стало охотников выбираться на общественные должности, потому что сверху не дают нашим выборным ничего делать, и теперь идут на общественные должности, как и раньше при самодержавии, неохотно, упираясь, словно отбывая тяжелую неприятную казенную повинность.

9. Еще мы видим большое зло в том, что всякому свободному человеку у нас теперь зажат рот крепче прежнего, а кто посмеет пикнуть слово против какой-нибудь несправедливости – его тотчас хватают, увозят и неизвестно куда девают. Земля наша, как встарь, становится бессудной, и вместо правосудия в ней водворяется самоуправство.

10. Всего хуже приходится всем нам, простым людям, от господ в кожаных куртках, зовущих себя агентами чрезвычайных комиссий. Эти ведут себя с нами, словно завоеватели в покоренной стране, и от них никто не может чувствовать себя в безопасности. Над ними нет никакого закона, а их произвол – всем закон.

11. При таких порядках не диво, что везде идут разговоры о новом советском крепостном праве, и находятся даже такие, что жалеют о старом царско-помещичьем правлении. Мы, несогласные на возврат к прежней неволе, виним в этом не их. Виноваты те, кто, имея в своих руках власть, допустили столько стеснений и обид простого деревенского народа, что жизнь ему стала непереносимой. И вот теперь стоит появиться какому-нибудь лихому новому Деникину, как сейчас находятся столько недовольных нынешней властью, что начинается гражданская война, где брат идет на брата, сын на отца. Мы заявляем, что мы вконец измучены этой гражданской войной, залившей кровью наших сыновей и слезами родителей всю Россию, отнимающей от хозяйства лучшие рабочие силы и разоряющей все государство.

12. И еще под конец мы заявляем, что ждали после падения старого строя новой жизни и правды в людях, мы ждали, что сами сделаемся новыми людьми, отложим злобу и корысть, станем жить, как братья, по правде, совести и любви. Мы ждали, что новая власть будет в этом нами руководить, неся нам сверху только свет и показывая пример справедливости и правдолюбия. Но с горечью в сердце мы убедились, что сверху к нам несут произвол, стяжательство, презрение к жизни человеческой, насильственность и грубость. И вместо святой радости за торжество свободы и правды мы видим кругом во всех сердцах растущее ожесточение, огрубление и горечь.

Таковы в двенадцати пунктах наши жалобы, обиды и неудовольствия. И мы в тревоге за будущее наше и детей наших. Мы боимся, что обиды и притеснения, которые терпит наш деревенский простой черный народ, приведут на Руси к новым, еще небывалым смутам, бунтам и кровопролитиям. И жалея кровь и жизнь человеческую, мы обращаемся ко всем братьям нашим крестьянам с предложением: обратимся все, как один человек, к нынешнему правительству. Оно называет себя рабоче-крестьянским, а потому не может и не должно желать сохранения своей власти против воли крестьян и рабочих. Пусть же оно обратится к народу, в один день назначит во всей Руси поголовную всенародную подачу голосов: кто одобряет действия Совета Народных Комиссаров, доволен его чиновниками и введенными им порядками и желает оставления его у власти, а кто, наоборот, не доволен им и желает, чтобы он сложил с себя власть и передал ее в руки народных выборных, чтобы учредить новую власть, учредить

новое правительство и учредить новые порядки в стране. Стало быть, Народное Учредительное Собрание.

Если сам народ прямым поголовным голосованием решит чему быть – больше никто спорить и прекословить не будет, и это положит конец всем смутам и гражданским войнам, иначе же кровопролитию конца не будет и все мы захлебнемся в нем и погибнем.

Голосование должно быть закрытым, чтобы не было места никаким застраиваниям, чтобы всякий подал голос по совести, не боясь за это поплатиться. Довольно мы видели выборов и голосований, которые были не что иное, как сплошная фальшь и ложь, которыми оскверняется завоеванная свобода.

Еще мы постановляем: обратиться к нашим братьям по труду, городским рабочим, с просьбой рассмотреть наш приговор и поддержать наши справедливые жалобы и требования, в особенности наше главное домогательство: проверочного всеобщего поголовного голосования по всей России, кто хочет оставить в руках нынешних Народных Комиссаров власть, и кто желает сложения ими власти в руки всенародных избранников. Бояться такого голосования или избегать его можно только тем, у кого нечистая совесть. Мы верим, что городские рабочие не захотят оказаться предателями против своих братьев, тружеников земли, и не положат начала братоубийственной вражде между городом и деревней.

Настоящий наш приговор постановляем послать в Совет Народных Комиссаров и в ЦИК Советов. А чтобы его не положили под сукно, копию постановляем послать людям, которых знает вся Россия: писателям Максиму Горькому в Петрограде и Владимиру Короленко в Полтаве. Ждем повсеместного присоединения к этому приговору крестьян и рабочих, а после этого – поголовного всенародного голосования, которое решит судьбу России. Отказать в установлении такого голосования или не послушаться его могло бы только такое правительство, которое открыто является врагом народа.

Когда Егор читал, отец сидел рядом, глядел сбоку в тетрадь и шевелил губами, шептал, должно быть, снова, в который раз, прочитывал про себя, повторял отдельные понравившиеся мысли.

– Ну как? – спросил он нетерпеливо.

– Тут у вас обращение к крестьянам других деревень, а как они узнают? А рабочие?

– Если сход согласится, по деревням пойдем, читать будем... Сумлеается кое-кто, надо ли? – вздохнул отец.

– Вот и я...

– Надо-надо! – перебил его отец, выставив бороду. – Моготы нет терпеть. И просвета нету. Покуда весь народ слова не скажет, так и будет править лихо на Руси. Ежли власть трудового народа, пущай народ и правит, а не под Маркелинскую плетку пляшет. Ныне решим, решим!

Мать встряла от судника, заговорила сердито:

– Ты чаво затеял? Мало вас Маркелин учил? Чаво затеял-та? Сам, старый вергугуй, в петлю лезешь и сына тянешь. Сына не путай...

– Отвяжись! – отмахнулся отец, хмуря брови.

– Сына, говорю, не путай...

Отец, как обычно, не стал ей перечить, отвернулся к окну, сделал вид, что не слушает ворчание матери, помолчал и снова глянул на сына:

– Ты зачем тада на паперть полез, а? Если б не расстрел, я б с тобой чикаться не стал, не одну б хворостину измутьзгал о хребет, неповадно чтоб было...

– Я не сам, вытянули, – буркнул виновато Егор, понимая, что не пустые слова отец говорит, действительно мог хворостиной отхлобыстать.

– Вытянули его... Головы нет? И с этим... Чиркуном не вожжайся, подальше держись. Никудышный он человек. Поплачет из-за него народ, ой заплачет... И эта... ныне на сход

не вздумай явиться. Знай дело свое, ты отпускник, отдыхай, копи силы, а к нам не лезь. Ты отстал... оборкаться не успел, да и не к чему... тут без тебя жисть кутыркнулась, раздрызганная стала, все, как слепые посеред леса, один туды тянет, другой сюды. Никто не знает, где дорога, а все указывают. Иной, скороземельный, таким соловьем поет, точно, мол, знает, за каким бугром рай, заслушаешься, бегом бежать следом охота, а приглядишься... – Отец махнул рукой. – Неча те делать на сходе, отдыхай. Сами как-нибудь расхомутаемся, с матерей будь... Вершу плети. Верша – эт хорошо. Весной жрать нечего будет. Мож, рыбкой перебиваться будем...

Не пошел на сход Егор, хоть и тянуло послушать. Вернулся отец, когда стал меркнуть короткий день. Анохин дергал крючком просяную солому из омета, набивал в кошелку, чтоб корове нести. Отец подошел веселый, возбужденный. Щеки малиновые, то ли от мороза, то ли от неостывшего волнения, кинул бодро:

- Приняли! Двое против пошли..
- Чиркун, небось, с Андрюшкой Шавлухиным?
- Точно!

Егор, видя, что отец доволен, весел, не сдержался, заговорил смущенно, сбивчиво о том, что ни на секунду не покидало его.

– Пап, я... это... ну ты знаешь... давно уж... Свататься надо к Настеньке... Мож, нонча вечером сходим, а?

– Надо бы, надо! – вздохнул отец. – Вижу, маешься! Но нонча-то как, готовиться надо... темнеет, када же нонча? Давай завтра сходим? По-людски подготовимся... А ты предупреди Настю, пусть отец Александр ждет...

– Ладно, – обрадовался Егор, старательно уминая руками солому в кошелке. Ему стало жарко. Уши горели. Услышав быстрый приближающийся хруст снега, поднял голову и вытер лоб.

К ним торопливо подтрусил Андрей Шавлухин, оглянулся с опаской, выпалил:

– Дядь Игнат, схорониться те надо, да поскорее. Стемнеет, запрягай лошадь и гони, хоть в Киселевку. Только не ночуй дома! Ни слова никому, что я сказал... Только поскорее!

Андрей говорил, а сам крутил головой, не видит ли кто, что он разговаривает с отцом.

– Мотри-ка, напужал, чиленок! – засмеялся отец. – Прямо трясушкой трясусь. Ай-яй-яй! Ухватистые вы ребята! Только и умеете тремуситься да болтать... Чаво смухордился, беги и скажи этому охламону – я в хоронючки с ним играть не собираюсь!

– Мотри, дядь Игнат, я как лучше хотел. Твое дело! – Андрей легко перемахнул через сугроб, провалился в снег, чуть не зачерпнул в валенки и выбрался на тропинку.

Анохины смотрели ему вслед.

– Затевают что-то, – пробормотал Егор, чувствуя возникающее беспокойство. – Мож, лучше уехать?

– Пушай! Народ решил, не я... Пушай сами дрожать! Не буду я в хоронючки со всякой шелупеню играть. Пужать они меня вздумали!

Вечером ужинали при лучине. Пахло щами, свежим хлебом. Вся семья за столом. Каждый на своем законном месте. Только рядом со снохой место брата пустует, как будет пустовать место Егора, когда он вернется на фронт. Не успели опростать чашку со щами, как дверь в сенях громыкнула, решительные и тревожные шаги затоптали, застучали. Распахнулась дверь в избу, впусив клубы серого морозного воздуха, и из мрака сеней первым шагнул через порог плотный, в подпоясанном белом полушубке и белой шапке командир заградительного отряда Пудяков. За ним – Мишка Чиркунов и двое в шинелях: милиционер и волостной военком. Вошли гурьбой. Тесно стало в комнате.

– Хлеб да соль, хозяева! – Пудяков снял рукавицу, потер свои темные от мороза широкие выступающие скулы. – Извиняйте, что прервали... За тобой мы, Игнат Лексейч. Народ баламутишь. Контрреволюцией занимаешься... Негоже так, негоже...

– И добром сдай тетрадочку! – строго приказал Мишка Чиркунов.

Он изменился за эти три дня. Стал чем-то походить на Маркелина, играющего роль вельможи. Может быть, взглядом. Решительнее стал, суровее.

– Все равно разыщем, отдай, – попросил Пудяков.

Мать окаменела с приоткрытым ртом, с испуганными побелевшими глазами.

Отец неторопливо вылез из-за стола, разгладил рукой бороду, распустил.

– Китрадку я сдам. Разыщите, верно... – смиренно пробормотал он.

– Ты всегда мужиком умным слыл, – без иронии сказал Пудяков. Он был родом из волостного села и давно знал отца.

– Сдать-то сдам, тока право за собой оставляю правду искать. До Москвы дойду, а узнаю, имеете вы право народу рот затыкать. – Отец вынул тетрадь из-под подушки. – Этот приговор мир вынес, трудовые крестьяне. Триста тридцать душ свой голос подали, а вы их за горло берете... Кабы сами не задохнулись от всевластья...

– Давай, давай, агитируй, – выхватил тетрадку Мишка. – Мы сами кого хошь сагитируем. Собирайся! Поедем!

– Куда же на ночь-то, родименькие мои! – запричитала мать, вскакивая с лавки с мокрыми глазами. – Да в мороз такой!

– Глань! – прикрикнул строго отец. – Охолони!

– Игнаша! Чаво они с тобой исделают?

– Сядь... Вернись...

– Ничего, тетя Глань, – протянул тетрадь Пудякову Мишка, – три года назад моя мать не так выла, когда твой муж меня арестовал, чтоб на германский фронт вернуть, милое ему Временное правительство защищать. Как видишь, живой, не пропал. Вернется и Игнат...

Пудяков раскрыл тетрадь, подошел ближе к столу, к лучине, сощурился, вглядываясь в страницу.

– Тусменно как у вас.

– Када я комиссарил, карасину было хучь купайся в нем. А ваша власть довела, в лампу залить нечего... – съязвил отец.

– Не путались бы под ногами, все б было.

– Плохому танцору все мешает.

– Собирайся давай! Хватит язык чесать, – посуровел, нахмурился Пудяков. – До Заполатово путь неблизкий.

Егор понял, что отца сначала повезут в волость, а потом уж в Борисоглебск. А может, и из волости отпустят. Приговор-то он не отправил.

Но отец из Заполатово не вернулся. Без него о сватовстве думать было нечего. Кончился отпуск у Егора, поехал отмечаться в волость к военкому и узнал, что отца отправили в уезд, в Борисоглебск. Повез его Мишка Чиркунов с двумя красноармейцами. И вестей оттуда пока никаких нет.

Так и не увидел больше отца Егор Анохин. Сражался с Врангелем. В мае тяжело ранен был. Отлежался в больнице, в Тамбове, получил справку в Тамбовском Окружном Эвакуационном пункте, что по случаю тяжелого ранения освобожден от несения военной службы от 10 июня 1920 года по статье №26 Литер Д, и вернулся в Масловку. И только тогда узнал, что Мишка Чиркун убил отца по дороге в Борисоглебск, якобы при попытке к бегству.

7. Спасенные от Великой скорби

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. Откровение. Гл. 7, ст. 16

В камере прохладно. Егор Игнатьевич начал зябнуть. Он отодвинулся от холодной шершавой стены, выкрашенной в грязно-зеленый цвет, вытянул из-под себя пальто, укрылся им, скукожился на голых досках нар и снова стал думать о Масловке, о Настеньке, о Мишке Чиркуне.

...На Петров день утром Егор сидел у порога избы на большом сером камне, глубоко вросшем в землю и отшлифованном ногами. Камень издавна служил ступенькой при входе в сени. Сидел Егор, ждал из церкви братьев с матерью и снохой, слушал перезвон колоколов. Его тянуло в церковь, тянуло просто нестерпимо. Там теперь многолюдно, поют, там Настенька. Очень хочется увидеть ее, хотя несколько часов назад расстались они, распрощались, как только засветилось небо на востоке, занялась ранняя утренняя летняя заря. Хочется в церковь Егору, но нельзя, член партии. Получил билет на фронте. И обязан теперь бороться с опиумом для народа. Одним ухом слушает колокола, а другое чутко выставил в открытую дверь сеней: не проснулся ли, не плачет двухмесячный племянник, не нужно ли его качать. Племянник, названный по деду – Игнатом, спокойный будто, но бывает раскричится ночью – то сноха, то мать попеременно качают его в люльке, трясут на руках, агукают до самого утра. И все три брата перебрались спать в ригу. Николай, старший, в семье за хозяина. Отрастил бороду, встает, чуть свет забрезжит, поднимает братьев. И ложится рано, едва отужинают на улице, на траве, в сумерках. Стал он неожиданно для Егора малоразговорчивым, неторопливым, стал покрикивать изредка на жену, на мать, на Ванятку. В общем, во всем стал походить на отца. Но Егором не решался командовать, понукать, заставлять делать то или это. Егор жил в семье как бы особняком, на правах выздоравливающего, хотя он уже и прихрамывать перестал, и шов на животе затянулся, превратился в розовый рубец.

Николай вернулся с гражданской набожным. Каждое воскресенье шел в церковь, чинный, причесанный, с ровным пробором посреди головы. Круглая, густая, но короткая борода топорщилась на щеках и подбородке. Шел он по деревне чуть впереди семейства. Мать в темном старушечьем платье, в темном платке, со смиренным лицом; Любаша, круглолицая толстушка, после родов она быстро поправилась, пополнела, щеки у нее округлились, стали похожи цветом на зреющую вишню, шествовала важно, весь вид ее говорил, что она довольна собой, мужем, свекровью, всей своей жизнью, что ей доставляет удовольствие шагать по праздничной деревне в чистом платье, в новом цветастом платочке, который подарил ей муж, нравится смотреть, как чинно кланяется степенный муж встречным мужикам, говоря: – Доброе здоровийчко, Антон Степаныч! С праздничком, Трофим Ильич! – а особенно нравится, что пожилые мужики, отвечая, уважительно величают ее молодого мужа по батюшке, кланяются: – С праздничком и тебя, Миколай Игнатич!

Некоторые мужики со скрываемой усмешкой спрашивают:

– Миколай Игнатич, что же вы неполным семейством-то? Брательник-то где? Егор?

– А-а! – машет рукой Николай и говорит о брате, как о пропащем. – Что с него взять? Коммуняка! – Но говорит добродушно, словно верит, что болезнь брата недолгая, выздоровеет.

– Ты и сам за них кровь лил, – напоминают Николаю, что он три года почти был в Красной Армии.

– Лил, а как же, – соглашается Николай. – А твой сын не лил разве?

– Это да, да...

Егор знает об этих коротких беседах, усмехается, вспоминая и представляя, как разговаривает брат с мужиками.

Только Ванятка ходит в церковь неохотно, тащится позади матери понуро. Но боится старшего брата, его строгого взгляда. Один раз Ванятка попросил Егора:

– Братушка, ты б хоть с Миколоаеом поговорил, чего он меня каждое воскресенье в церковь тащит... Хоть в праздник поспать...

– Сами разбирайтесь, – не стал ввязываться Егор. – Он за отца, дом на нем держится. Да и ты вон, как жердь, здоровый. Сам мужик, стыдно за адвокатов прятаться.

Показался народ на лугу, потянулся группами, семьями по своим дворам. Служба кончилась. Тихо пока в деревне. Ни громких голосов, ни лая собачьего не слышно. Воробьи только орут на соломенной крыше избы, писк, торопливое голодное чиликанье чиличат из гнезд доносятся, когда туда ныряет быстрая худая воробьица с червяком в клюве. Низ крыши обтрепан сильно, так, что видны жерди, и весь в норах воробьиных гнезд. Николай задумал перекрыть в этом году крышу, горится, что год засушливый, рожь не высоко поднялась. Ржаная солома для крыши не годна, но брат присмотрел участок в низине Семена Петровича Грачева, рожь там высока, стебли толстые, для крыши в самый раз, и договорился поменяться соломой. Да, урожай в этом году неважнецкий. Колос легкий, хил. Просо еле над землей поднялось. Рожь в хороший год в рост человеческий, стеной стоит, радует глаз, душу. А сейчас тревожно смотреть, издали от ячменя не отличишь. И рано пожелтела. Больше месяца ни капли не упало на поле, ни одной тучки не прошло по небу. Вдали на севере гроыхало изредка. Там шли дожди, а здесь в Борисоглебском уезде солнце, солнце, жара каждый день. Но сегодня с утра хмарно, клубится, чернеет облако на северо-западе, грозит дождем, обнадеживает, тревожит.

Вернулись, подошли к Егору Николай с семьей. Лица благодные, умиленные, даже Ванятка, как ангелочек, спокойный, умиротворенный. Егор поднялся с камня, пропуская мать и сноху в избу собирать на стол.

– Не просыпался? – спросила Любаша о сыне.

– Спит.

– Ох, хорош был сегодня отец Александр! – вздохнул Николай удовлетворенно, останавливаясь вместе с Ваняткой под окнами, и добавил с некоторым беспокойством: – Только не пондравилось, крутились чей-та, нюхали во дворе эти Чиркун с Андрюшкой Шавлухиным. Морды кислые... Не по ндраву, что народу стока в церкви. Кабы не прикрыли, не взяли попа. Это щас недолго. Ты ничо не слыхал? Нету разговору?

– Пока указаний не будет, не тронут.

– А чо, ожидаются указания? – быстро и с тревогой спросил Николай.

– Не слышать... Пока требуют словами разубеждать народ, если поп открыто против власти не агитирует.

– Словами – это ладно, пушай... Кто им поверить?

– Братуха, помнишь, мы говорили... – начал с кривой заискивающей улыбкой Егор. – Пост кончился... Мож, нонча пойдем. Чего тянуть...

– А-а, ты о Насте?

– Ну да.

– Можно и нонча вечерком, – согласился брат и заговорил деловито. – Кума надо предупредить, пусть готовится. Отец крестный главным сватом должен быть.

– Я после завтрака сбегаю к нему, – с готовностью, быстро проговорил Егор.

– Не, тебе не стоит. Я сам схожу. Это наше дело. Ты жених, твое дело маленькое, не влазь.

Помнится, от спокойных деловитых слов брата Егор почувствовал себя легко, затрепетало все в душе от долгожданной радости. Сколько лет он мечтал о том, как войдет женихом в попову избу, и наконец-то сегодня вечером свершится. Никаких больше препятствий нет. И со свадьбой тянуть не стоит, по нынешним временам не до большой гульбы.

– Не пойму я только... – снова спокойно заговорил Николай. – Отец Александр Настю без венчания не отдаст. Это точно. В церковь придется идти.

– Пойду.

– Ты же коммунист. Вам нельзя...

– Ради Насти я на все пойду!

– Значит, коммунист ты липовый. У нас в части комиссар говорил, что за честь партии любой коммунист с радостью голову сложить. И ложили, сам видал...

– Дак и я б сложил, там, на фронте. Кровашки-то своей, – Егор задрал рубаху, показал свежий розовый рубец на боку, – немало пролил. Надо будет, еще пролью... Но Настенька... Настя совсем другое, тут меня лучше не трогать. За нее я самому Троцкому в миг горло перехвачу!

– Ты такими словами не бросайся!

– Это я к слову... Да тебе...

– Мужики, идите разговляться! – весело крикнула из сеней Любаша.

В избе все, кроме Егора, встали округ стола. Анохин отошел к сундуку, чтоб не мешать: подумалось, что надо было на улице подождать, пока помолятся.

Николай крестился на иконы, молился вслух, остальные крестились и кланялись молча. Брат с чувством смирения говорил вполголоса:

– Боже! Тебя от ранней зари ишу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле иссохшей и безводной. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления: нет делающего добро, нет ни одного. Как рассеивается дым. Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Боже! Будь милостив к нам и благослови нас; освети нас лицом Твоим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами. Аминь!

Егор молиться не молился, но разговелся вместе со всеми. На столе рядом с алюминиевыми чашками с курятиной, щами появилась бутылка, заткнутая бумажной пробкой, прохладная, из погреба.

За окном зашумело, зашелестело, защелкало по стеклам. Крупный косой дождь лупил по земле, поднимал пыль над дорожкой под окном и сразу умирал ее, рассеивал. Листья травы вздрагивали под ударами тяжелых капель. Прошумел с минутку и затих, убежал дальше, в Киселевку. И солнце тут же открылось, заблестело в каплях на листьях. В открытую дверь потянуло свежестью, прохладой, влажной землей.

Ели неторопливо, разговаривали, радовались дождичку. Освежил землю малость. В конце завтрака, когда все насытились, Николай завел речь о сватовстве.

– Мам, думается, пора сватов к отцу Александру слать. Самое время. Мы с Егором покумекали, решили прямо нонча и наладиться. Неча тянуть бестолку. Который год оба маются, пора в стойло.

– А примет отец Александр нонча? – засомневалась мать. – Он с зари в хлопотах: заутреня, обедня, вечерня – не до сватовства. Мож, погодить денек?

– Сколько лет ждали, еще денек подождут, не развалятся, – поддержала Любаша свекровь. – Кто же такие дела в праздник делает?

– То пост, то праздник, – недовольно и разочарованно буркнул Егор. – И так три года!

– Тебе на фронт не идти! – осадил его брат. – Чего ты? Небось, не помрешь за день, не на год откладываем, потерпи. Поспешишь, людей насмешишь!

После обильного завтрака мужики вышли на улицу посидеть, покурить. Камень у входа, дорожка под окнами были уже сухими. Только ямки и катышки видны в пыли. Густо пахнет травой, прошедшим дождем. Рыкнула гармонь за избой, заиграла, завеселилась. Должно быть, Илья Грачев, Эскимос, вышел на улицу. Эскимосом его прозвали потому, что он был на каторге на Чукотке. Ссылали его туда за убийство. Конокрадом был. Накрыли его однажды за этим

делом, и убил Илья хозяина коня. Вернулся он в деревню этой зимой и много рассказывал про жизнь эскимосов. Вот его так и прозвали. Как только Илья заиграл, сразу где-то на Хуторе залилась другая гармошка.

– Как петухи перекликаются, – весело усмехнулся Николай. – Шас, мотри, с Вязовки отзовутся, – и крикнул жене в избу: – Любаша, что-то Гнатик разоспался? Покорми его, да пойдем на луг. Народ выходить.

Из-за избы донесся хриплый голос Ильи Эскимоса.

*Шел деревней – веселился,
Полюшком – наплакался.
Ты бы с осени сказала —
Я бы и не сватался.*

Ему ответил женский, озорной, но грубоватый.

*Я иду, иду и стану
И спрошу саму себя:
О котором парне думает
Головушка моя?*

И тут же подхватил другой женский голос, тонкий, как у молодого петушка.

*Меня милый изменил
Чернобровую нашел,
А она седые брови
Подвела карандашом.*

Озорной, грубоватый не замедлил ответить.

*Лиходейка меня судит
А сама-то какова:
Целый месяц пришивала
К одной кофте рукава.*

Любаша вышла на порог, стояла, слушала, улыбалась.

Потом, помнится, гуляли по Масловке. Большой луг, как муравейник. Гармони три разливаются. Округ них народ: пляшут, поют. И ребятня тут же крутится. А до Троицы, помнится, каких только игр на лугу не было. Сначала в «салки», так в Масловке лапту звали. Зрителей тоже бывало немало: подзуживают, смеются, кричат, особенно когда кто-нибудь после удара по мячу мчится по полю к кону, а его посалить стремятся. Ох, шуму! Помнится, был однажды Егор в одной группе с Настенькой. Как он носился по полю, как увертывался от мяча, как трепетало его сердце, когда Настенька была на нарывалке и от его удара по мячу зависело, выиграют они или нет! Николай с Любашей стояли в толпе на краю поля, следили за игрой. Куда делся благочестивый вид брата? Он кричал, советовал, кому передать мяч, чтоб ловчее посалить. Готов сам был вступить в игру. О-о, он-то умел бить по мячу! Слава о его ударах ходила по деревне. Мяч, как жаворонок, скрывался в небе, глазу не видно... А сейчас, на Петров день, только пляски на лугу. Егор наплясался, раненая нога прибаливать начала. Не заметил, как появились в толпе бойцы заградительного отряда, приехавшие со слепым комиссаром.

Гармошки примолкли, и народ потянулся к церкви, стал собираться в большую толпу возле ограды. Кто-то крикнул, что газеты привезли. И мужики гурьбой рванули к агитповозке: бумаги нет, не из чего сигарки крутить. В листья табак заворачивать стали. Мигом газеты, брошюры размели. И довольные, складывая на ходу газеты так, чтоб удобнее было клочки сры- вать, шли к ограде церкви, где на телеге стоял слепой комиссар и ораторствовал, говорил что- то быстро и резко, взмахивая рукой. Рядом с ним на телеге Мишка Чиркун в красной рубаше, важный, как флаг, и заметно хмельной. А комиссар одет, несмотря на жаркое время, в кожаную куртку, застегнутую на все пуговицы. Вместо глаз у него темные провалы, прикрытые веками, белеет шрам на переносице и левом виске. Лоб потный, волосы слиплись. Бородка клиныш- ком. Издали сильно шибал на Калинина, портреты которого часто печатали газеты, когда он приезжал в Тамбовскую губернию.

Егор с Настей тоже подошли к толпе.

– О чем он? – спросил Анохин у Акима Поликашина, оказавшегося ближе всех к нему. На Акиме старый картуз, чистая сорочка, но застиранная до того, что потеряла свой цвет.

– О польском хронте, – ответил Аким, с удовольствием, даже с каким-то блаженным выражением на лице скручивая сигарку из клочка новой газеты. – Комиссар из Москвы только, с совещания деревенских агитаторов. Грить, Ленина видал своими глазами...

– Так он же слепой?

– Грить, видал.

– Пошли поближе, послушаем! – предложил Егор Насте, и они стали пробираться к телеге.

Издали сквозь сдержанный говор до них долетали только отдельные слова. Глядел Егор вперед, на слепого комиссара и не заметил, налетел, споткнулся о низкую деревянную коляску, в которой сидел головастый больной мальчик лет трех с тонкими, как хворостина, ножками, пузатый. Мальчик сосал свою руку, засунув в рот всю кисть. Слюни обильно текли по руке изо рта. Глаза его, бессмысленные, ничего не выражающие, смотрели на Егора. Он отшатнулся и поскорее потащил Настю за руку в толпу за спины людей мимо Коли Большого, деревенского дурачка, без которого ни один сход не обходился. Пробрался к самой телеге, откуда слепой комиссар кричал в толпу:

– Ленин говорил нам, что сейчас, несмотря на успехи на польском фронте, мы должны напрячь все силы. Самое опасное – это недооценка врага. Все для войны! Без этого мы не справимся с ясновельможными панам. Мы разгромили Колчака, Юденича, Деникина, потерпите еще чуть-чуть, может, годок еще, добьем Врангеля, разобьем польских панов и коммунизм настанет, деньги отменим! Вы сами видите, как с приходом большевистской власти с каждым годом народ живет все веселее, забывать стал о проклятом прошлом. С радостью слышал я, въезжая в Масловку, ваши песни, ваш смех. И это стало возможным только благодаря Совет- ской власти...

– Раньше дюжей веселились! – выкрикнул кто-то из толпы.

Слепой комиссар запнулся.

Егор слышал, как Чиркун быстро и спокойно сказал ему:

– Это кулак! Я разберусь. Продолжай.

– Настанет коммунизм, и несметные богатства хлынут к нам с окраин страны. Ленин говорил, что товарищи Луначарский и Рыков побывали на Украине и на Северном Кавказе и рассказали ему, что на Украине кормят пшеницей свиней, а бабы на Северном Кавказе моют молоком посуду. Понимаете, девать еду некуда, когда другие голодают. И у вас – я ехал сюда, видел – хлеба уродились в этом году... Потому и планом наметили взять с Тамбовской губер- нии одиннадцать с половиной миллионов пудов хлеба...

– Сколько?! – раздались ошеломленные голоса.

– Очумели? Где мы возьмем!

– С голодухи подохнем!

– Товарищи, товарищи, разве это много? В прошлом году у вас взяли двенадцать с лишним миллионов пудов, живы остались!

– В этом году и вполовину не уродилось!

– Это кулаки, – снова сказал Мишка Чиркун слепому комиссару. – Не спорь с ними. Я разберусь!

– Товарищи крестьяне! – крикнул слепой комиссар. – Я не уполномочен прибавлять или убавлять разверстку! Я – агитатор! Я готов донести до руководства ваши просьбы, жалобы... Какие у вас вопросы ко мне будут?

– Газет поболее привози! – крикнул издали Аким Поликашин. – Дюже читать охота!

В том месте, откуда крикнул Аким, засмеялись, знали, что он неграмотный.

– Будут вам газеты, я передам... Верно, товарищи крестьяне, тяга к знаниям по всей стране великая. Надо нам поскорей вырваться из темного проклятого прошлого...

– Вы говорили – коммунизм, коммунизм наступит, а рази сейчас не коммунизм? – спросил Илья Эскимос. Гармошка у него висела на плече на ремне. – Все газеты пишут – коммунизм.

– Не, товарищи, не путайте, сейчас военный коммунизм. А настоящий наступит, когда война закончится. Так Ленин сказал!

– А какая разница? – настаивал Эскимос.

– При коммунизме все люди будут делать всё добровольно. Все, что душе захочется! А при военном коммунизме мы вынуждены насильственно заставлять работать по приказу. К примеру, вырастите вы хлеб при коммунизме, оставите себе на прокорм, а остальное без всяких разверсток добровольно отвезете на склад. И там же на складе получите все, что вам нужно: штаны, рубаху, соху, если старая не годится. Понял? А сейчас все по приказу, принудительно, потому что сознания нет.

– Значит, все, что душе угодно, получу? – спросил задиристым тоном Аким Поликашин. Он пробрался в первые ряды.

– Все! – ответил слепой комиссар.

– А ежели я захочу бабу Мирона Яклича? Она у него сдобная, а я сдобных люблю.

Заулыбались, зашелестели люди. А Мишка Чиркун присел на телеге на корточки у ног слепого комиссара и зло прошипел Аким Поликашину:

– Мало Маркелин порол? Забыл? Еще охота?

А комиссар то ли шутя, то ли всерьез весело выкрикнул, махнув рукой:

– Захочешь – бери!

Смех прокатился по толпе и затих.

– А ежели Мирон Яклич не захочит? – спросил в тишине Аким Поликашин.

– Захочет. Это он сейчас не захочет, а при коммунизме у него сознание переменится. Он рад будет, если ты захочешь.

И снова хохот по толпе загулял. Слепой комиссар улыбался, видно, довольный был, что сумел развеселить народ.

– А ежели не захочит? – упорствовал Аким.

– Захочит! – на этот раз выкрикнул Илья Эскимос. – У эскимосов как: ночуешь у них, и эскимос тебя сам к своей бабе в постель ложить!

– Значить, у эскимосов давно коммунизма! Значить, они все большаки?

– Товарищ комиссар! – закричал озорно из толпы молодой парень. – Сейчас-то все по приказу! Напиши-те мне приказ, чтоб Машка меня полюбила!

– А что? – по-прежнему улыбаясь, спросил комиссар, приседая, чтоб спрыгнуть с телеги. – Не хочет добровольно?

Егор ухватил его за рукав кожаной куртки, помог слезть с телеги.

– Не-а, – ответил парень так же озорно.

– Я бы написал, – улыбался слепой комиссар, направляясь неторопливо на голос парня. Толпа расступалась, уступала дорогу. – Но я права не имею приказы писать. Это власть должна...

Слепой комиссар натолкнулся ногой на низкую деревянную коляску с больным уродцем. Мать не успела вовремя откатить ее. Мальчик вытащил мокрую руку изо рта, сморщил свое большое страшное лицо с бессмысленными глазами и тонко запищал. Слепой комиссар присел на корточки перед коляской, нащупал голову уродца и погладил его по волосам. Мальчик успокоился, снова засунул кисть руки в рот и засопел сопатым носом.

– Какой прелестный, милый ребенок! – воскликнул слепой комиссар, поднимаясь с корточек. – Какая, наверно, у него счастливая мать! Вот, товарищи, – указал он на уродца, – будущее Советской страны! Ради него мы и кладем свои жизни, ради него проливаем свою кровь. И я уверен, что будущее будет таким же прекрасным, как этот ребенок! А строить это будущее нам с вами! – Слепой комиссар, чувствуя, что кто-то рядом с ним дышит громко, сопит, слушает внимательно, протянул руку, коснулся тугого плеча Коли Большого, деревенского дурачка, нащупал заплату на рубаше из грубого холста и приобнял его за плечо, продолжая говорить: – А вот главная опора Советской власти! Вот на таких крепких бедняцких плечах мы и придем к светлому будущему, к коммунизму... Спасибо вам, товарищи, за внимание. Мне нужно ехать в соседнюю деревню.

8. Шестая печать

И отверз он уста свои для хулы на Бога. Откровение. Гл. 13, ст. 6

Вечером праздник продолжался. Особенно в сумерки, когда над Коростелями, соседней деревней, надолго застыла летняя заря, ало освещающая снизу полосу высоких облаков. Народ стал хмельнее, задиристей. Андрюшку Шавлухина еще днем оттащили домой с разбитыми губами, с темными пятнами крови на синей сатиновой рубахе. К вечеру он прохмелел чуток, снова появился на лугу. На этот раз смирный, какой-то вялый, сонный, с раздутой верхней губой, молча постоял, посмотрел, послушал, как поют под гармонь прибаски, и куда-то исчез. Не видно его было больше, как не видно было и Мишки Чиркуна. К вечеру в Масловке появился командир заградительного отряда Пудяков с пятью бойцами. Три красноармейца, те, что помоложе, остались на лугу, а двое ушли с Пудяковым. Эта троица сначала с интересом наблюдала за весельем, потом, наверное, им кто-то поднес по стаканчику, они примкнули к тем, кто окружал гармониста Илью Эскимоса, разулыбались, покраснелись, и один из них, невысокий, худой, верткий, не выдержал, пустился в пляс. Плясал он лихо, выкаблучивал, выкидывал-вывертывал сапоги, поднимал пыль. В лад шелкал ладонями себе по коленям, по каблукам, по груди – выставив мелкие зубы, разудало высвистывал в лад перестуку каблучков и выкрикам гармонии. Толпа вокруг Эскимоса росла. Егор был рядом с Настенькой. Он видел, как блестели ее глаза в полутьме, как белел платочек в руке, которым она часто вытирала себе лоб и виски. Когда Илья заиграл «Матаню», она схватила Егора горячими пальцами за руку и легонько потянула в круг. Топало ногами, стучало в землю каблуками человек двадцать. Пахло пылью. Мелькали среди пляшущих фуражки красноармейцев. То в одном месте, то в другом беспрерывно взлетали частушки. Плясун-красноармеец, стуча каблуками и размахивая руками, увивался возле Настеньки, будто нечаянно пытался отеснить Егора. Видя, что Настенька не обращает на него внимания, спел прибаску:

*Я надену шлем с звездою,
Серые обмотки.
Выходи тогда со мной
Поплясать, красотка.*

Видно, не всем нравились развеселившиеся красноармейцы. Не успел плясун допеть, как тут же в другом конце круга кто-то молодо, задиристо, рявкнул:

*Пришел в Масловку отряд
Заградительный.
О нем люди говорят —
Заграбительный.*

И Эскимос своим хриплым прокуренным голосом бойко прокукарекал:

*Мы в Совдепии живем
По теории
И мякинушку жуем
По категории.*

И тот же самый задиристый, молодой ответил еще более дерзко:

*Ленин Троцкому сказал
– Пойдем Лейба на базар.
Купим лошадь карию
Накормим пролетарию.*

Бойцы заградительного отряда прекратили плясать, дружно двинулись туда, откуда доносился задиристый голос, но перед ними плясали, путались под ногами, не давали пройти. Красноармейцы стали расталкивать девок, парней. Эскимос сдвинул гармонь. В тиши стали слышны сердитые вскрики:

– Ты чего пихаешься?

– В лоб хошь?!

– Кого?

А кто-то звонко крикнул:

– Орлы, убирайтесь отцеда, пока черепки целые!

Настенька, сжимая руку Егора, прошептала:

– Пошли отсюда!

Он с колотящимся сердцем стал выбираться из толпы. Она за ним. Отошли и, взявшись за руки, двинулись по лугу по направлению к мосту через Кришу. Шум позади стихал, снова заиграла гармонь.

Помнится, небо в ту ночь было серебристо-звездное, безлунное. Справа, на чистом горизонте, на бугре, чернела мельница с крестом крыльев. Поле впереди, за рекой, светлело вызревшей рожью. Когда перешли мост без перил и пошли по берегу, стал слышен легкий шелест сухих стеблей. Ветра не было, и казалось, что кто-то невидимый осторожно ходит по полю, тихонько раздвигая колосья. Пахло от реки парной водой, тиной, а от поля особым волнующим запахом спелого хлеба. Кузнечики стонали, млели от нежности. Темнели густые кусты ветел на другом берегу. Разве вспомнить теперь, о чем они говорили? Скорее всего о будущей совместной жизни, о предстоящем завтра сватовстве, о свадьбе, которую договорились не оттягивать на осень, сыграть скоро и скромно. Осталось в памяти ощущение нестерпимого счастья, и казалось тогда, что счастье это бесконечно, что нет силы, что может разъединить их. Потому и не дрогнуло сердце тревогой, когда окликнул их незнакомый мужской голос у колодца возле поповой избы.

– Эй, голубки, погодите минуточку!

Свет из окон поповой избы, приглушенный занавесками, освещал темные кусты сирени, стволы кленов. На белых занавесках лежали спокойные тени сидевших за столом.

Подожли двое. Егор узнал бойцов заградительного отряда. Один, тот, что пониже ростом, вертлявый плясун.

– Долго вас ждать пришлось, – сказал он, посмеиваясь чему-то. – Нагулялись? Пора баиньки. Ты, длинноногачий, дуй домой... Мамаша заждалась!

– Сейчас провожу и пойду, – согласился смиренно Егор.

– Да не, ты не понял... Ты иди спать, а ей еще рановато. Ступай добром, будь щедрым, попользовался – другим дай... – Плясун ухватил Настеньку за руку, а мордастый боец сильно толкнул Анохина в грудь, буркнув:

– Ступай, ступай!

Егор от удара попятился и, закипев, со всей силой двинул в белевшее в темноте круглое лицо красноармейца. Боец охнул, согнулся, а Анохин кинулся к Настеньке и плясуну, сцапал того за шиворот, легко рванул к себе, оторвал от девушки и крикнул ей:

– Беги!

Плясун ужом вывернулся из рук Егора, и мордастый очухался. Анохин бил их, они били его. Егор наконец поймал, зажал верткого плясуна. Оба упали на землю. Мордастый пытался оттащить Анохина, скрутить. Втроем они, матерясь, хрипя, катались по земле в темноте. Не слышали, как выбежали из избы попа Мишка Чиркун, Пудяков, Андрей Шавлухин, бойцы заградительного отряда. Разняли, растащили, повели в избу. Мордастый хрипло матерился, гундосил, зажимал разбитый нос, обещал придушить Егора. Лицо и рука у него были в крови. У Анохина оцарапана щека, ныло укушенное плечо. Плясун, когда его зажал Анохин, царапался, кусался. Мишка в избе захохотал, глянув на них, окровавленных, грязных. Пудяков, сильно пьяный, на улице ругался, костерил своих бойцов, а в избе тоже повеселел, прикрикнул заплетающимся языком:

– Умойтесь, вояки! И мировую!

Егор заметил, как в щель двери из горницы глянула на него Настенька и сразу исчезла.

– Да, да, мировую, – подхватил Андрюшка Шавлухин и стал разливать на столе, заставленном посудой с остатками еды, самогон в стаканы.

В простенке за столом неподвижно застыл отец Александр. Сидел он с таким видом, будто случайно попал в чужой дом, в чужую компанию, тяготится, не знает, как уйти отсюда незаметней.

Умылись, отряхнулись, кое-как привели себя в порядок драчуны. Мордастый по-прежнему злобно косился на Егора. Анохин хотел уйти сразу, но его задержал Мишка Чиркун, почему-то желавший, чтоб он остался, выпил мировую с красноармейцами. Выпили все, кроме попа. Андрюшка и ему всунул в руку стакан, но отец Александр только подержал его в руке и поставил назад. Плясун, уколощенный, с маленьким носом и быстрыми глазами, закусывал весело, потом начал что-то рассказывать. Мордастый грыз свежий огурец молча.

– погоди! – перебил Чиркун плясуна, вытер рукой потный лоб и повернулся к попу. – Так, батюшка, на чем мы остановились, а? Перебили нас, собаки, на самом интересном месте... – Мишка оглянулся на дверь в горницу, поглядел долгим взглядом. Кадык на его длинной шее дернулся вверх-вниз.

Отец Александр не ответил, усмехнулся как-то снисходительно и горько.

– Ты говорил – царя скинули, Бога отменили, – подсказал Андрюшка, усаживаясь на лавке поудобнее, и подпер подбородок ладонью, облокотился об стол. Приготовился слушать. Верхняя губа у него была раздута, оттопыривалась к носу.

– Верно! – обрадовался Мишка. – Царя нет – свергли! Бога нет – упразднили... Теперь я царь и Бог. Я! – ткнул себе в грудь Чиркун. – Я казню и милую! Вот Пудяков для меня указ, но он, вишь, хорош! – Мишка взял за плечо уронившего голову на грудь командира заградительного отряда и потряс его. – Васька, очнись! Слышь, о тебе говорю!.. Ребята, отведите его в сенцы, там прохладней, пусть отлежится на сундуке.

Два красноармейца, те, что были здесь все время, подняли Пудякова со скамейки и поволокли в сени, а Мишка снова повернулся к отцу Александру, ткнул себя в грудь:

– Так вот, я царь и Бог!

– А тебе не страшно? – тихо спросил отец Александр.

– Кого?

– Вседозволенности...

– Кого, кого?.. Мне никого не страшно! Хошь, я завтра церковь закрою? Хошь?.. Я и тебя могу отменить...

– Не верит он, – насмешливо протянул плясун, подзадоривая Мишку. – Гля-кось, смотрит как? Мол, плетешь с пьяной головы. Бог и царь он...

– Не верит? – глянул на плясуна Мишка. – А ты веришь?

– Докажи – поверю! – усмехнулся плясун.

– Я докажу, прямо сейчас докажу, – повернулся Мишка к попу. – Ответь мне, батюшка, где твой Бог, где твой Христос с его правдой? Почему не поразят нас, тех, кто их отменил? Почему?

– Бог милосерден... Каждому дает срок одуматься. А от суда никому не уйти... Время придет – накажет...

– Не плети! – перебил Мишка. – Ты ответь, где правда Христова? Почему ее нет на земле?

– Если правда Христова не осуществляется в мире... то в этом повинна не правда Христова, а неправда человечья...

– Как, как? Значит, есть правда Христова?

– Есть! – мотнул волосатой головой отец Александр.

– Ага! – засмеялся Чиркун. – Хорошо. Как там Христос говорил: возлюби ближнего своего. Это Христова правда... Ты, служитель Божий, несешь нам его правду. Значит, сам ты веришь в правду Христову и обязан следовать ей. Я твой ближний! Но я отменил твоего Бога, я для тебя гадок, мерзок. Но по правде Христовой ты любить должен врага своего, а друга любить ничего не стоит... Любишь ты меня, а? Ответь! Отвечай... – Мишка отчего-то разъярился, схватил обеими руками попа за грудки, притянул к себе и скрипнул зубами. – Любишь?

– Люблю... Ты не знаешь сам, что творишь.

Мишка оттолкнул, бросил попа на лавку и повернулся ко всем сидевшим за столом, засмеялся хрипло, объявил:

– Слыхали, он меня любит, – и опять повернулся к отцу Александру. – Бога нет, дурак! Я – Бог! Где он, твой Бог, где?.. Пусть придет, накажет меня. Позови его! Если он всеведущ, почему он не заступится за тебя, верного слугу своего? Ну! Я плюю на твоего Бога, я на тебя плюю. – Чиркун харкнул в лицо попа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.